АЛЕКСАНДР БАХРАХ

По памяти, по записям

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

LA PRESSE LIBRE

ПАРИЖ, 1980

А. БАХРАХ * ПО ПАМЯТИ, ПО ЗАПИСЯМ

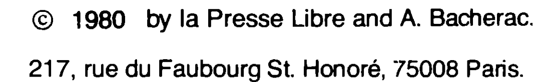
АЛЕКСАНДР БАХРАХ

По памяти, по записям

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

LA PRESSE LIBRE

ПАРИЖ, 1980



217, rue du Faubourg St. Honoré, 75008 Paris.

ПРЕДИСЛОВИЕ

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ БАХРАХ

Спокойная ирония Монтеня,
Но жмурится радушие в очках,
И, оживая, вызванные тени
Заговорили запросто в гостях.
Мастит, а в письмах юноша игристый,
Как будто бы еще мы гимназисты:
Такой забавник — умница Бахрах.

Ю. И.

Александр Васильевич Бахрах, хоть и родился в Киеве, но отрочество и юность прожил в Петербурге, где и учился в частной гимназии Мая. Осенью 1918 г. он с родителями уехал в Киев, а оттуда в мае 1920 года, пережив за сравнительно короткий срок смену более десятка режимов, когда город был занят польскими войсками, в Варшаву. Это была его первая остановка по пути к деду, который к тому времени уже обосновался в Париже и был особенно с внуком близок. Вскоре, однако, к польской столице стала приближаться красная армия, руководимая Тухачевским, и Бахраху с большими трудностями удалось выбраться сперва в Данциг, а затем через Берлин в Париж. В Париже Бахрах слушал лекции на юридическом факультете Сорбонны.

Затем года два он провел в Берлине, ставшем на время одним из самых оживленных центров русской эмиграции. Город «кишел» русскими, и особенно много оказалось в нем представителей литературы, при чем почти все они, странным образом, как-то преуспевали в побежденной и обнищавшей веймарской Германии. Р. Б. Гуль в недавних воспоминаниях «Я унес Россию» воссоздает атмосферу того времени и перечисляет издательства, книготорговли, журналы, газеты, которые тогда появлялись в Берлине, как грибы после благодатного дождя. Издатели — народ опытный, тертый, но в то время они наивно верили, что наводнят Россию свободными русскими книгами.

В 1922 году новоприбывшие из Советского Союза знаменитые изгнанники — Бердяев, Франк, Степун, Осоргин и многие другие осно-

вали, как бы в противовес уже существовавшему «Дому искусств» свой «Клуб писателей», и юный Бахрах стал его секретарем.

А. В. был вовлечен в этот книжный бум, ходил на бессчисленные собрания, вечера, в излюбленные русскими кафе, пивные и знал всех, хоть эти все и были очень разные. Политика была представлена всеми партиями — от монархистов до меньшевиков и эсеров и до возвращенцев.

Но А. В. политикой мало интересовался, а в литературной жизни принимали участие не только эмигранты, но и гости из СССР: Пастернак, Есенин, Маяковский, Эренбург или Андрей Белый, как и Алексей Толстой, которые были еще на эмигрантском положении и вернулись в Советский Союз немного позднее.

Первое посвящение Бахраха в литературу состоялось в берлинской газете «Дни»: это был отзыв о книге А. М. Ремизова «Ахру» (о Блоке).

А. В. жаловала Марина Цветаева и после своего отъезда в Прагу, с ним переписывалась. Посвятила ему шесть или семь стихотворений в цикле «Час души»:

«В глубокий час души и ночи,
Нечислящийся на часах,
Я отроку взглянула в очи,
Нечислящиеся в ночах —
Ничьих еще...»

Позднее Бахрах опубликовал не вполне полный текст цветаевских писем к нему в альманахе «Мосты».

В 1923 году Бахрах возвратился в Париж, где и жительствует больше полувека. В Париже, как и в Берлине, он тоже знал всех и уже все его знали. Вот неполный список периодических изданий, в которых он сотрудничал: Дни, Воля России, Новая Русская книга, Струги, Числа, Современные записки, Русский сборник, Орион, Новоселье, Новый журнал, Мосты, Опыты, Новое русское слово, Континент... и недавно была издана книга его воспоминаний — «Бунин в халате» (1979 г.).

Однако большинство публикуемых в сборнике статей впервые появилось на страницах «Русской Мысли».

Кого только читатель не найдет в нем. Здесь и советские писатели — Пильняк, Бабель, Маяковский, рядом и те, которых нельзя назвать советскими, хотя они вернулись в Россию, как уже упомянутый Андрей Белый или очень уж несоветский Борис Пастернак. Ближе всего ему были И. А. Бунин, под крышей которого он провел все военные годы, А. М. Ремизов, Г. В. Адамович, дружил он и с монпарнасскими поэтами

— Гингером, Ладинским, Корвин-Пиотровским, Кнутом, Смоленским. Вспоминает он и незаслуженно забытых «чудаков» — Талова, Божнева, Зданевича (Ильязда), а наряду с ними трагически погибшего во время сталинских чисток известного экономиста Чаянова или популярного Вертинского. Нашли место на этих страницах и менее близкие ему философы Бердяев, Шестов, Мережковский. Но незачем всех перечислять — и все помянуты добром.

«Я любил его потому, что он — он», — писал Мишель де Монтень в своем эссе о дружбе, то есть именно таким, каким он есть — без всякой идеализации, но и без снижения; без иллюзий, но сочувственно, не делая из мухи слона или из слона муху.

Дружественная теория познания Бахраха очень монтеневская. Она вытекает из симпатии, с добавкой иронии и иногда — скепсиса.

Бахрах хорошо знает — что может и хочет делать и чего не может да и не хочет. Не творит он мифов, как Андрей Белый или Марина Цветаева, стремившаяся показать поэтов во весь рост или даже высший замысел о них. Цветаевой это куда лучше удавалось, чем Белому, но она иногда очень уж изменяла облик своих героев-героинь. А Бахрах не мифотворец. Он просто пишет свои портреты или эскизы — меткие, живые, непритязательные. Наконец, и это редкая и драгоценная черта — он умеет цитировать поэтов, находит самые их счастливые стихи (**vers donnés**), что недоступно многим присяжным литературоведам и критикам, не говоря уже о марксистах. Есть у Бахраха вкус, есть здравый смысл и он явно задет поэзией за живое, ушиблен литературой — и без этого ушиба он не мог бы проникновенно понимать стихи да и прозу.

Отмечу еще эрудицию Бахраха. Можно только пожалеть о том, что А. В. не преподавал в университетах, ведь он мог бы вести семинары на самом высоком уровне. Поражают его глубокие познания в области пушкинианы, но из скромности Бахрах о Пушкине никогда не писал.

Дописываю ту сентенцию Монтеня о дружбе: «Я любил его, потому что он — он и потому что я — я». Но к самопроявлению Бахрах не стремится и может даже создаться впечатление, что он сводит себя на нет. Но это не так. При всей своей скромности Бахрах невольно и неизменно присутствует в своих воспоминаниях. Он везде — благожелательный друг своих почивших друзей. Он остается верен их памяти и они в его книге живут в быту, радуют в искусстве и становятся нашими собеседниками, хорошими знакомыми.

— Кто такой Бахрах? — спросила меня одна москвичка, из тех мало кому известных москвичей, которые теперь так увлекаются преимущественно литературой первой и второй эмиграций. — «Мы с огромным интересом читаем его в доходящих до нас журналах и газетах».

Бахраха, несомненно, заметила и так называемая «Третья волна».

Перечитывая очерки великого гасконца Монтеня, перелистал и всю его драгоценную книгу. Будто бы он только воплощение одного скепсиса! Между тем, сколько в его эссе мягкого доброжелательства к человеку, сколько настоящей гуманности, а не одного только книжного гуманизма, сколько ума сердца, о котором позднее писал Блез Паскаль, а в наши дни Андре Жид.

Монтень, в противоположность будто бы более «русскому» Паскалю, сравнительно мало встречал сочувствия в России. Правда, его читали Пушкин, Тургенев, Толстой и по-видимому ценили.

Все же «русская широкая натура» была скорее равнодушна к этому книжнику юристу и помещику из Бордо и его родной Гаскони. Но такие ли уж русские — широкие, а Монтень совсем не узок! И в русскую литературу уравновешенный и благожелательный Бахрах явно вступил под знаком Монтеня.

Можно пожалеть о том, что в эту книгу Бахраха не вошли очерки о Г. В. Адамовиче, Г. В. Иванове, В. Ф. Ходасевиче, А. С. Присмановой и многие другие. Надеемся — этот ценный материал войдет в другой том воспоминаний.

Проф. Юрий Иваск

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БУНИНА

Одной из больших удач моей жизни я считаю встречи, а иной раз — говорю это без преувеличения или желания прихвастнуть — и очень дружеские отношения с рядом людей, которых принято называть «людьми выдающимися». Одним из них был Иван Алексеевич Бунин, которому я очень, очень многим обязан (кто знает, может быть, даже жизнью).

Под бунинской кровлей я прожил свыше четырех страшных лет — с момента демобилизации в октябре 1940 года вплоть до освобождения Франции, то есть, до конца 1944 года. Я хотел было сказать, что этот период, пожалуй самый страшный в моей жизни, я провел под бунинской «гостеприимной» кровлей, но в данном случает такой эпитет звучал бы фальшиво. Нет, бунинский дом был не «гостеприимной кровлей», а чем-то несравненно большим. Своего гостя или, вернее сказать, жильца, чтобы не говорить приживальщика, Бунин как бы приобщал к своей семье и хотя за глаза нередко на него бурчал и в письмах мог над ним едко иронизировать, а то и красочно ругать, он готов был всячески его опекать, в критические минуты вставать на его защиту и не хотел с ним расставаться. Ему хотелось, чтобы при нем всегда находились люди посторонние, которых он по-своему стремился акклиматизировать и в этой черте его характера было какое-то совпадение с Горьким, а если идти назад, то отчасти и с Толстым.

Четыре года постоянного с ним общения — стаж, действительно, большой, тем более, что время было такое, когда — как это было сделано Николаем I по отношению к защитникам Севастополя — каждый месяц можно было без натяжки считать за год. Я теперь горько сожалею, что не было во мне эккермановских задатков и я не записал всех бесед с Буниным, его

замечаний, острот, даже его особенную ругань, в большинстве случаев им самим придуманную. Ведь во всех его проявлениях в равной мере искрился неподдельный талант и всякая запись о нем была бы ценной, потому что Бунин был не только выдающимся писателем, но и замечательным человеком. Но, увы, даже те краткие записи, которые я стал делать в самом начале нашей затянувшейся «зимовки на Фраме» куда-то затерялись, а потом было уже не до записей. Трудности повседневной жизни поглощали слишком много времени, а тучи, непрестанно сгущавшиеся над нашим горизонтом, не располагали к тому, что с такой медлительной точностью мог делать гетевский собеседник в патриархальном, защищенном от бурь Веймаре. Да надо к тому же признаться, что для близких нет великих людей и по истечении какого-то срока общение с ними входит в привычку и их высказывания перестают поражать.

Но так еще случилось, что последний день жизни Ивана Алексеевича (7 ноября 1953) я почти весь провел с ним с глазу на глаз. Накануне мне позвонила по телефону Вера Николаевна (жена И. А. Бунина), которой нужно было куда-то спешно отлучиться, кого-то проведать и о ком-то позаботиться, и просила прийти посидеть — вернее, подежурить — у постели больного.

Когда я пришел, он лежал полузакрыв глаза, еще более отощавший за ту неделю, что я его не видал, еще более подавленный и измученный и красивое лицо его, сильно заросшее щетиной, было почти пепельного цвета. Но должен покаяться, внешний его вид все же меня не потряс. Ведь еще задолго до этого дня перестал он походить на жильца на этом свете и в течение ряда предшествующих лет всякий раз прощаясь с ним, я не мог отделаться от ощущения, что больше его не увижу. Так, вспоминаю, в частности, его проводы на Лионском вокзале, когда, года за три до его кончины, он уезжал на юг, в Жуан-ле-Пэн. Вспоминаю, как перед самым почти отходом поезда мы зашли с Адамовичем в его купе и он, безмерно утомленный переездом из дому до вокзала, приумолкший и какой-то беспомощный, вдруг оживился и неожиданно с азартом воскликнул: «Вот, ежели буду жив и Бог даст сил, постараюсь еще свалить Достоевского с пьедестала». В этом восклицании было почти что-то бредовое и выйдя из вагона, в момент, когда поездная лента стала удаляться, а на перроне замелькали

платки провожающих, у нас обоих мелькнула одна и та же мысль и переглянувшись мы поняли друг друга без слов.

А в тот день — последний его день — при моем приходе он открыл веки, поворочался, откашлялся, затем с заметно нараставшей взволнованностью стал говорить о бессмысленности смерти, о том, что не может ни уразуметь, ни принять, как это может статься, что вот был человек и вот его не стало. Все он мог, по его словам, вообразить, все понять, все почувствовать, кроме «несуществования». Вероятно, как и в случае с Иваном Ильичем, известный силлогизм — «Кай — человек, люди смертны, поэтому Кай смертен», казался и Ивану Алексеевечу правильным и логичным только по отношению к Каю, но никак неприменимым к нему самому.

Но и все его мрачные разговоры едва ли могли поразить меня, так как темы о смерти он касался много, много раз — еще задолго до того, как она стала стучаться в его дверь. Несмотря на назойливость этих мыслей, несмотря на то, что вослед Толстому он любил повторять крылатую фразу Марка Аврелия о том, что «высшее назначение наше — готовиться к смерти», он был явно к ней не подготовлен.

На его постели лежал томик Толстого и когда я спросил его, что он теперь читает, он, как мне показалось, слегка приободрился и ответил, что еще раз хочет перечитать «Воскресение», но сказал при этом, что читать ему уже трудно, трудно сосредоточиться, особенно трудно держать книгу в руках. А потом добавил и, что меня удивило, с какими-то почти гневными интонациями:

— Ах, какой замечательный был во всех отношениях человек, какой писатель... Но только до сих пор не могу понять, для чего понадобилось ему включить в «Воскресение» такие ненужные, такие нехудожественные страницы...

Он имел в виду те, в которых описывается служба в тюремной церкви и совершение таинства евхаристии (другими словами, главы 39-40 первой части «Воскресения»).

Эти слова Бунин произнес уже как бы с запальчивостью и с каким-то глубоким внутренним страданием. Не знаю, правильна ли моя догадка, но мне в тот момент показалось, что в чем-то упрекать Толстого причиняло ему физическую боль. Он считал это своего рода кощунством и, вместе с тем, ему было непосильно не протестовать против того отношения к причастию, кото-

рое было у Толстого, когда он работал над своим последним большим романом.

У меня создалось впечатление, что над этими толстовскими страницами Бунин в этот день много размышлял и сердился одновременно на себя и на Толстого — на себя из-за того, что не мог подыскать надлежащего оправдания для толстовского злого и, как он его воспринимал, неуместного сарказма; на Толстого, потому что в последние часы своей долгой жизни нашел в нем какой-то штрих, какую-то подробность, которая была ему органически враждебна, вызывала в нем отталкивание и снижала тот идеальный облик, с которым он с детства сжился.

Ведь Толстой в глазах Бунина был не только одним из самых необыкновенных людей, когда-либо живших на этом свете — он был своего рода божеством, в отношении которого он никогда, за всю свою долгую жизнь, не посмел высказать ни одного упрека, ни одного порицания. А тут, неожиданно для себя, он натолкнулся на страницы (не лишено возможности, что до этого дня ему и не попадался экземпляр «Воскресения» с восстановленными купюрами, сделанными в свое время цензурой), нарушившие его душевный покой и он не мог пройти мимо них в молчании. И последовавшая внутренняя борьба и физическое усилие, необходимое, чтобы высказаться, не только под конец взволновали его, но и утомили. Он снова закрыл глаза, повернулся к стене и попросил на некоторое время оставить его одного. Я вышел в соседнюю комнату — слышал оттуда, как он продолжал ворочаться и что-то вполголоса про себя говорить. Как мне казалось, он все бормотал: «Как он мог, как он мог?».

И, может быть, в эту минуту, в одну из последних своих минут, он припомнил свою встречу в Толстым, припомнил, как он шел с ним в черную мартовскую ночь по Девичью полю и как Толстой, переживая тогда одну из самых горьких и болезненных своих утрат — смерть семилетнего любимого сына, Ванечки, — резко и отрывисто твердил: «Смерти нет, смерти нет». Все это Бунин давным-давно описал в своей книге, посвященной Толстому, — но вот, натолкнувшись на отрывок, который вызывал у него решительное отталкивание, он вопреки своей воле брал под сомнение запавшие в его душу толстовские слова, в которые ему больше всего хотелось теперь верить.

«Как он мог?» — это доносившееся из соседней комнаты «как он мог» оказалось последним восклицанием, услышанным

мной из уст Бунина. Вскоре я его покинул, а на следующее утро, чуть ли не на рассвете, Вера Николаевна позвонила мне по телефону, чтобы сообщить, что «Ивана Алексеевича больше нет». И когда я пришел в знакомую, но сразу же опустевшую, точно оголившуюся, квартиру, он — в соответствии с его очень категорическим предсмертным желанием — лежал уже в столовой на кушетке, с головой, покрытой толстой простыней. Через несколько дней его хоронили на тихом пригородном кладбище, в Сент-Женевье-де-Буа.

БУНИН И «ОХОТА НА КАВКАЗЕ»

В тот период моей жизни, который проходил под бунинской кровлей, я, кажется, ничего так не любил, как в летние месяцы прогулки с ним, когда случалось совершать их «с глазу на глаз». Тогда — как начинало темнеть — мы подымались по Наполеоновой дороге до небольшой поляны, у которой эта дорога разветвлялась. Там с наступлением ночи тучами кружились средиземноморские светляки — «лючиоли», своим фосфорическим светом словно озарявшие всю окрестность. Бунин питал к этим миниатюрным созданиям своего рода нежность и мог подолгу следить за их безостановочным кружением.

На поляне, у самой развилки, торчал старый пень, на который он всякий раз усаживался, чтобы отдохнуть, попривередничать по поводу скудости грасской жизни и выразить недовольство тем, что военные события развертываются в слишком медленном темпе. А побрюзжав, он начинал что-то рассказывать, нередко такое, о чем в другой обстановке он едва ли стал распространяться, а то касался литературных тем, делясь мыслями, возникшими у него после того, как он, вероятно, в сотый раз перечитал те несколько книг, которые хранил в своем бельевом шкафу, и которые, кстати сказать, очень неохотно давал на прочтение даже своим домочадцам. Почти неизбежно в какой-то момент он возвращался к Толстому. Без упоминания имени Толстого не обходилась, кажется, ни одна прогулка.

Вспоминается, как при одном из таких вечерних хождений он все жаловался на бессонницу, утверждал, что ему больше не помогает снотворное и добавил, при этом, что как только открывает глаза, начинает думать о смерти и тогда в его памяти невольно всплывает одно из толстовских писем, которое он

словно заучил наизусть, так как мог его цитировать почти безошибочно.

Толстой, как говорил Иван Алексеевич, писал в этом письме, что нельзя уговорить камень, чтобы он падал наверх, а не вниз, куда его тянет и затем — «к чему все, если завтра начнутся муки смерти и «забавная штучка» (Бунин подчеркнул, что это подлинные слова Толстого) — кончается ничтожеством, нулем для каждого из нас».

А в заключение Бунин пояснил, что в этом не перестававшем его волновать письме, адресованном Фету, Толстой описывал смерть своего любимого старшего брата, отмечая, что за несколько минут до конца «Николай задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал — «Да что ж это такое». По толкованию Льва Николаевича, «это он е е увидел — поглощение себя в ничто».

Полет «лючиол» на несколько мгновений перестал тешить Бунина и он почти в страхе произнес: «Эти толстовские слова из письма к Фету я не в силах забыть, все о них думаю, «поглощение себя в ничто», что может быть страшнее?».

Вслед за тем, чтобы рассеять мрачные мысли, и по ассоциации идей вспоминая о дружбе Толстого с Фетом, он стал рассказывать, что прошлой ночью снова перечитывал «Казаков», потому что именно Фет, проведав, что Толстой не намерен кончать начатую повесть, настаивал на ее продолжении и как Толстой шутливо отвечал своему другу «Не искушай меня без нужды / лягушкой выдумки твоей» и что-то еще в том же тоне и только спустя несколько лет внял фетовским увещаниям.

«Кажется, каждое слово в «Казаках» помню, — продолжал Бунин, — а все-таки всегда тянет перечитывать их. Пусть это еще не вполне зрелое произведение, пропитанное идеями Руссо, но в нем уже ясно ощущается толстовский размах, его «почерк». Какие-то дураки в свое время нашли в нем какие-то недостатки, объявили, что повесть, мол, неактуальна, архаична, не разрешает никаких проблем... Ох, эти «проблемы»! Предоставьет разрешать их Боборыкину! Я бы, кажется, полжизни отдал, чтобы научиться подражать толстовским «промахам». Стоило бы только напомнить описание первого впечатления Оленина от кавказских гор, его слова, что горы и облака имеют одинаковый вид« что-то серое, белое, курчавое и их красота такая же выдумка как музыка Баха или любовь к женщине». А

слово «любовь» Толстой велел набрать курсивом»! Весь Толстой в этом...

Немного задумавшись, продолжал: «А перечитывая «Казаков», только об одном жалел: о том, что одновременно не могу еще раз прочесть «Охоту на Кавказе», о которой вы, наверное, и не слыхали. Знаем мы вас...».

Я пробормотал что-то невнятное, потому что догадывался, о чем говорит Иван Алексеевич, хотя названного им очерка, действительно, никогда не читал.

— А ведь это подлинно прекрасная вещь, точно стараясь меня в чем-то убедить, — почти с волнением в голосе воскликнул Бунин. — Да могло ли быть иначе, коли ее автором был такой удивительный человек, как Николай Толстой. Если вам представится возможность, непременно прочтите эту повесть, даже если вы ничего в охоте не смыслите. Когда я писал мою книгу о Толстом, мне хотелось уделить в ней хотя бы несколько страниц его брату Николаю, но у меня не было достаточно материалов под рукой. Ведь Николай Толстой умер задолго до моего рождения. Мой отец его раз-другой встречал, и говоря о нем, едва удерживал слезы, а ведь сентиментальностью отец не отличался. А кто теперь Николая Толстого вспоминает? Вы только прочтите, что о нем думали Тургенев и Фет, который в своих весьма непритязательных воспоминаниях писал, что «Николай Толстой был замечательным человеком, про которого мало сказать, что все знакомые его любили — они его обожали». Николай, собственно, бесшумно проводил на практике многие из тех идей, которые развивал его брат в своих теоретических построениях. А Тургенев утверждал, что Николай потому не сделался писателем, что был лишен тех недостатков, которые нужны, чтобы им стать. Вы, конечно, понятия не имеете о том, что эти тургеневские слова Толстой приводит где-то в своих дневниках и вы даже не догадываетесь, как часто я о них думаю. Как же мне быть к ним равнодушным, когда писательство — мое ремесло, и не зря в моем паспорте значится «homme de lettres»! Ведь писательство — единственное, что я по-настоящему умею делать, что меня кормит, не только дает хлеб насущный, но и ту радость, которая помогает жить даже в нынешних проклятых условиях, когда утром не знаешь, что будет к вечеру. Ведь у меня всегда в голове бродит мысль о том, что мне еще осталось дописать, как получше досказать, что было когда-то пережито или чему я был свиде-

телем — ведь я не выдумщик и не фантазер, и пишу только о том, что знаю. Но, конечно, как у каждого писателя, есть и во мне элемент тщеславия — отпираться не стану — иной раз какая-нибудь паршивая рецензенка выводит меня из себя, хотя я тут же сознаю, что никакого значения она не имеет, моей репутации не повредит, как возвышенные слова не вознесут на Олимп.

— Да, — прервал я его, — вспоминаю, как вы печатно на меня огрызнулись, когда я заикнулся о некоторой автобиографичности Арсеньева...

— Не отвлекайте меня от того, что я хочу еще досказать об «Охоте», — улыбнулся он. — Повторяю, постарайтесь прочесть ее и вы увидите как она удивительно прозрачно написана, с таким легким юмором, что, ей-же-ей, стоит «Записок охотника». У этого дилетанта полезно поучиться любому профессионалу. Он не мудрствуя лукаво, пишет о том, что видел, но как поэтично все это передано, а его Епишка, конечно, прообраз более колоритного дяди Ерошки, которому Лев Николаевич как-никак придал известную тенденциозность, пожелав изобразить его, как представителя природного начала. Ведь недаром оба брата прожили некоторое время вместе в той же гребенской станице, встречали тех же людей — так что совпадения неминуемы.

Молодцы были редакторы «Современника», — успокаивался Бунин, — что охотничий очерк никому не известного Николая Толстого поместили на первом месте в одном из номеров своего журнала. Некрасов не вполне зря признавал, что «рука Николая Толстого тверже владеет языком, чем рука его брата» и что «далекость от литературных кругов имеет свои преимущества». Какая умница — Некрасов, которого вы, конечно, не любите. Где вам? Вам бы только запускать в небеса ананасом! (Это был любимый бунинский припев при разговорах со мной).

Когда представилась возможность, я стал старательно разыскивать переиздание «Охоты на Кавказе», выполненное в двадцатых годах Гершензоном. Мне так хотелось поднести эту книжечку, ставшую библиографической редкостью, Ивану Алексеевичу, заранее предвкушая, как он ей обрадуется. Поиски мои не оказались тщетными, но беда была в том, что книжонка попалась в мои руки слишком поздно: Бунина уже не было в живых.

А теперь, сняв с полки эту маленькую тетрадку, которая стала мне особенно дорогой после описанной прогулки, я вспомнил, как Бунин, ненавидевший посещение кладбищ, говорил тогда, что непременно съездил бы в Иер — благо от Грасса это недалеко — поклониться могиле Николая Толстого, если бы только мог предполагать, что она сохранилась. Вспомнилось еще, что по дороге домой, все мрачнея, он бормотал — «Поглощение себя в ничто. Что страшнее этого?».

Может показаться странным, что невеселые мысли, которые в ту пору неотступно преследовали Ивана Алексеевича, не мешали ему почти безостановочно работать над рассказами, вошедшими в сборник «Темные аллеи» — рассказами о любви, иной раз трагическими, но иной раз в какой-то мере «озорными». Впрочем, так ли это «странно»? Не была ли внутренняя тематика этой книги своего рода «самозащитой», попыткой заглушить наплыв навязчивых мыслей?

«ХОЧУ ДОМОЙ»

Сперва несколько строк об Алексее Толстом, которого Бунин постоянно честил всевозможными малоизысканными именами и иначе как Алешкой не называл, но к которому все же относился с скрытой нежностью. Ценил его не только как писателя, но отчасти и как человека, хоть и насквозь знал все его проделки и измышления. «Что с Алешки взять»,— неоднократно говорил Бунин, рассказывая о Толстом всякого рода анекдоты, вроде того, как в первые годы эмиграции, когда еще думали, что вот-вот большевизму придет конец, он продавал свое никогда не существовавшее «родовое имение», даже не придумав заранее, где оно находится! Впрочем, многие из рассказов бунинского репертуара, посвященного автору «Сорочьих сказок», первой, еще незрелой книге молодого автора, которую Бунин принял в редактируемый им журнал, передать невозможно. Они не для печати!

Что-то в Толстом импонировало Бунину и хотя их пути давно разошлись, он всегда в мыслях продолжал его видеть молодым, задорным, в енотовой шубе, с цилиндром на голове.

Бунин не очень-то оценил «Хождение по мукам», чертыхался по поводу последней части этой тетралогии (она называлась «Хлеб»!), но зато «Петром Первым» восторгался неподдельно. «До чего хорошо, — говаривал он с некоторым удивлением, — ведь сколько документов пришлось ему изучить, сколько архивов перерыть».

А затем так привелось, что незадолго до начала войны два бывших приятеля невзначай столкнулись в одном из больших парижских кафе. Они дружески расцеловались и осушили по бокалу шампанского. Впрочем, их общение дальше этого фужера не пошло и эта встреча не помешала Толстому рассказать

какому-то интервьюеру, что «Бунин ходит совсем зеленый от злости» и что прочтя два томика бунинских рассказов и «Жизнь Арсеньева», он наглядно увидал, что Бунин опустошен и его творчество становится пустой оболочкой, где ничего нет, кроме сожалений о прошлом и мизантропии». Казалось бы, на этом их отношения должны были закончиться.

Однако, в дальнейшем возникает некая загадка. В бунинском двухтомнике «Литературного наследства», наиболее авторитетном из советских литературоведческих изданий, биограф Толстого Крестинский рассказывает, что якобы в июне 1941 года, буквально у самого порога гитлеровского нашествия, Толстой получил от Бунина открытку. Следует отметить, что эта открытка с момента отъезда Толстого из Парижа, то есть примерно за двадцать лет была единственным эпистолярным обращением «зеленого от злости» Бунина к Толстому.

В открытке Бунин, мол, «жаловался на трудные условия своей жизни». Это, конечно, вполне правдоподобно: условия жизни в Грассе были подлинно нелегкими, а на жалобы Бунин редко когда скупился. Но далее, как указывает Крестинский, Бунин, не говоря о своем желании вернуться на родину прямо и во весь рот, будто сделал это в завуалированной, но столь очевидной форме, что Толстой тут же засел за писание письма «дорогому Иосифу Виссарионовичу», запрашивая его «может ли он подать Бунину надежду на возвращение». Крестинский добавляет, что сохранилось три черновика послания Толстого, которое он тщательно отшлифовывал, взвешивая каждое слово и колеблясь, какую форму обращения принять и как послание закончить.

Дальше Крестинский сообщает, что «к великому сожалению этот интереснейший для биографии Бунина документ (то есть открытка, адресованная Толстому), затерялся» ... Потеря этой открытки, согласимся с Крестинским, тем более досадна, что она дала бы ответ на то, что мне представляется неким «недоразумением».

Ведь я в те дни буквально ежечасно общался с Буниным, подолгу с ним беседовал и он нередко говорил со мной на довольно сокровенные темы, которых я и сейчас не считаю себя вправе касаться. Но ни разу за эти жуткие годы (как и после того, как они миновали) я не слышал от него хотя бы отдаленного намека на желание перекочевать в Советский Союз. Не слыхал я от него и о том, что он с чем-то обращался к

Толстому, хотя в то время выполнял при нем обязанности «почтмейстера». Сам он никогда на почту не спускался, а каждое свое письмо считал экстренным и непременно отправлял «экспрессом». «Это более убедительно для получателя», — говорил он.

Бывали, конечно, дни, когда Бунин носился с мыслью покинуть «осточертевший» Грасс. Одно время он почему-то стал подумывать о Португалии, вообразив, что это страна с «кисельными берегами», в которую можно добраться на ковре-самолете. Затем он стал поговаривать о переезде за океан. К примеру, вот запись, сделанная мной осенью того же 41-го года: «Вчера Иван Алексеевич поднялся ко мне, когда я уже лежал. Он сел около постели и с большой энергией и упорством стал уговаривать меня ехать в Америку, предлагая «по-настоящему» стать его секретарем и там как-нибудь сообща выкарабкиваться».

Была ли тогда выполнима его идея трудно сказать, но она не получила дальнейшего развития не столько из-за самой сложности такого предприятия, из-за связанной с путешествием устрашавшей его бюрократической волокиты, сколько из-за решительного сопротивления Веры Николаевны, вызванного сугубо личными причинами.

Как мне представляется, недоразумение почти аналогичного рода кроется и в истолковании одной бунинской фразы в письме к его давнему другу писателю Телешову. Эта фраза, точнее пост-скриптум, которая уже не раз цитировалась и так и сяк комментировалась, звучит: «Я сед, сух, но еще ядовит. Очень хочу домой...».

Это «очень хочу домой», став известным, чуть ли не вызвало «бурю в стакане воды». Но как следует толковать эту приписку? Буквально? А как же иначе, как по-другому, будут мне возражать.

Был скучный майский день, дождь не переставал моросить, все кругом точно застыло на мертвой точке, а войне конца-краю не виделось. Нависали материальные заботы, которые Бунин всегда был склонен преувеличивать, надоела ненасыщающая, однообразная еда, но еще больше надоели все те же физиономии, которые мелькали перед ним и естественно приелись. Бунин припомнил свое недавнее житье-бытье, невесть какое, но где собеседники чередовались, а по вечерам можно было пойти в кафе или еще куда. Ему вдруг захотелось

вернуться в свою насиженную, хоть и не очень уютную квартиру, которая была именно его «домом» — другого ведь у него никогда и не было. В эту минуту он забывал, что Париж не привычный ему город, что и там не будет у него желанного спокойствия. Зная его, трудно, почти невозможно предположить, что он мог, хотя бы на минуту, подумать о возвращении в страну, в город, на какой-то Арбат, ставшие для него совершенно чужими и чуждыми и где он никак не мог бы чувствовать себя «в своей тарелке».

И именно с Телешовым, с его старым «Митричем» ему захотелось, пока не поздно, поделиться разъедавшей его в этот ненастный день горечью. К Телешову — далекому другу он всегда сохранял, хотя — он об этом говорил — был отчасти уязвлен, как мало места этот друг уделил ему в своих «Записках», посвященных предреволюционной литературной Москве и пресловутым «средам», происходившим в телешевском доме. Бунин закрывал глаза на то, что такое умолчание было лишь невольной «данью времени». На имени, на лишней цитате можно было поскользнуться...

А ведь в письме к Телешову было еще более показательно, чем полуабстрактное «хочу домой», из-за которого было сломано столько копий, умышленное подчеркивание слов «я еще ядовит». Если только хорошенько вдуматься, станет ясно, что одно противопоставлялось другому. Если раскрыть скобки и под «хочу домой» непременно подразумевать «домой в Москву», почти парафразу из «Трех сестер», то это восклицание никак не вяжется с «я еще ядовит». Говорится, что «Москва слезам не верит» и это, конечно, правда, но еще меньше тогдашняя Москва была способна дать приют и уготовить тихую пристать «ядовитому человеку». Бунин это отлично знал и не мог с этим не считаться, даже в минуты какой-то депрессии.

Впрочем, это не единственный случай, когда из-за одного, другого его необдуманного слова к нему пристегивали всевозможные нелепые политические ярлыки.

РЕМИЗОВУ БЫЛО БЫ СТО ЛЕТ

В небольшой книжке «Кукха», вышедшей в Берлине в 1923 году, Ремизов опубликовал адресованные ему письма Розанова, сопроводив их забавным комментарием. В частности, в главке «Нумизматика» — эта отрасль знания всегда заставляла трепетать сердце Розанова — Ремизов, как бы обращаясь к своему корреспонденту, рассказывал, что «сделал обезьянью монету в один квадрильон, которую за обезьяньего царя Асыку собственнохвостно подписал упказ А. Бах-рах» и далее «все это тончайший комариной ножкой как нарезано от царя Асыки до Бахраха упказа». Не скрою, что тогда мне очень польстило носить титул упказа ремизовской обезьяньей палаты да еще в придачу значиться у него «турецким послом обезьяньим и кавалером первой степени с журавлиной ногой».

Впрочем, все это было так неправдоподобно давно, что теперь я даже не могу припомнить, как я познакомился с Ремизовым и кто впервые привел меня в его берлинское обиталище. Помню только, что, перейдя его порог, я почувствовал себя примерно так, как сказочная Алиса, вступившая в потузеркальное пространство. Скромная, по-мещански меблированная квартира была приведена Ремизовым в «надлежащий» вид и была пропитана воздухом «взвихренной Руси», как он прозвал первые послеоктябрьские годы. Ремизовские комнаты были разукрашены какими-то яркими бумажными вырезками, от стены к стене была протянута веревка, на которой висели елочные шишки и какие-то амулеты, то и дело куковала невпопад какая-то заводная кукушка, а поверх всего обитала в этом жилье супружеская чета, даже по внешнему облику ни с какой другой не схожая — то ли Филемон и Бавкида, то ли «старосветские интеллигенты».

Однако, несмотря на все эти колдовские декорации, очень скоро можно было почувствовать, что хозяин этой причудливой квартины не столько чародей, сколько мудрец, который своими чудачествами и своими — иногда каверзными — «шуточками» только испытывает посетителей.

За долгие годы общения с Ремизовым я успел узнать его довольно близко, хотя едва ли сумел отгадать до конца. Что-то он всегда хранил в себе «за семью печатями», чего-то никогда не договаривал — ни в своих автобиографических писаниях, ни в самых задушевных разговорах.

Так сложилось, что бывали в моей жизни периоды, когда я частенько навещал Ремизовых, не раз помогал при переезде с одной парижской квартиры на другую, но бывало, когда мы не встречались месяцами. Такие перерывы, впрочем, не мешали тому, что наши отношения всегда оставались на одном уровне, и я с уверенностью знал, что в трудную минуту, будучи на любом распутьи, могу прийти к Алексею Михайловичу, поплакать в его жилет и среди тихих и трезвых слов, без наставлений, без нажатия педалей, как-то сам собой родится всегда добрый совет.

Знал я еще, что нет той литературной справки, которую нельзя было бы от него получить. Его внутренний, глубочайший культ протопопа Аввакума и Гоголя, Достоевского и Лескова, всей русской старины в ее многовековом разнообразии был тем, что его питало, что до конца дней составляло главную радость его жизни. Ведь смысл этой жизни, особенно в тяжелые для него годы вдовства, был в открытии или, точнее, в использовании по-новому утерянных словесных оборотов и забытых словечек. Это своенравное стремление повернуть вспять развитие языка, направить разговорную речь чуть ли не по канонам московской Руси, было его прихотью, каким-то непреходящим, хоть и очень спорным, капризом. Однако, это не мешало ему с таким же любованием изучать различные варианты сказаний о Тристане, византийские легенды или «Тысячу и одну ночь» и не менее близок был ему волшебный мир гофмановского кота Мурра.

Наряду с этим, Ремизов с заботливой пристальностью вслушивался в каждый молодой голос, радовался рождению новых литературных имен, даже если они были только обещаниями. Отдыхая от переписывания новой своей вещи или от рисования (его графические работы заслуживают быть отме-

ченными особо), вооружившись красным карандашем, он любил просматривать только что полученную книжечку какого-нибудь новорожденного поэта или прозаика и почиркать ее, делая отметки на полях и испещряя их вопросительными и восклицательными знаками. Впрочем, подобные же знаки он расставлял и на полях книг своих «маститых» и общепризнанных собратьев по писательскому ремеслу!

В первые послевоенные годы, когда он очутился один и не было больше его Серафимы Павловны, которая была скорее предметом его неустанных забот, нежели «заботливой женой» в общепринятом понимании этих слов, я забегал к нему довольно часто. Не могу забыть, как среди всей внешней неорганизованности его жизни, среди всех ее повседневных трудностей, он как-то в случайном разговоре воскликнул: «Боже, как я богат». В этих словах не было ни позы, ни иронии. Он действительно, считал себя богатым той ревниво им охраняемой творческой свободой, богатым нежеланием подчиниться жизненной прозе, богатым неспособностью идти навстречу читателю, хотя бы в какой-то крошечной мере заискивать перед ним.

Ведь надо сознаться, что Ремизов был скорее писателем для писателей, чем для читательской массы. Зато писателям, даже тем, которые этого не хотели сознавать, он был так же нужен, как таблица логарифмов инженеру. При жизни его печатали неохотно, и он не переставал скулить по поводу отношения к нему издателей и редакторов. Между тем за годы эмиграции он выпустил рекордное количество книг, и, кажется, не было ни одного зарубежного журнала, ни одного альманаха, в оглавлении которого не значилось бы имени Ремизова. Книги его когда-то расходились «по чайной ложке», и как радостно был бы он поражен, если бы дано ему было узнать, что теперь его литературное наследство все время переиздается, а его творчеству посвящен целый ряд иноязычных докторских работ.

Хотя мы подолгу жили в одном городе, он любил писать письма или краткие записки, иногда без всякого конкретного повода. В моем архиве их сохранилось свыше полутораста, и недавно они были разобраны одной из сорбонских исследовательниц ремизовского творчества.

Для каждого из своих знакомых им была припасена кличка, и Ремизов искренно считал, что, произнося ее, каждый обязан был знать, кого он имеет в виду. В письмах последних

лет он именовал меня — уж не знаю, почему — своим «ангелом-хранителем», но не поручусь, что было им выдумано для меня и менее «возвышенное» прозвище. Такого рода «дублеты» не были редкостью в его обиходе. Таков был человек... Но эту двойственность нельзя ему не прощать. Она была частичкой его личности, той «игрой», которая была ему как воздух необходима, чтобы хоть как-то услаждать свое одиночество. Ведь в своей квартирке он жил точно улитка в своей скорлупе, всегда казался хилым, всегда сутулился, всегда ежился от холода и завертывался в какие-то оренбургские платки, и можно было подумать, что малейший порыв ветра его опрокинет. Ему нужны были люди, собеседники, кто-то, кому можно было дать невыполнимое поручение, кто мог бы стать объектом для его надуманных снов, которые когда-то так пришлись по вкусу французским сюрреалистам.

А по существу он был однолюбом в самом буквальном смысле, и после кончины Серафимы Павловны, которой, кстати сказать, посвящены все его книги, его жизнь была в конечном счете уже неким прозябанием... хотя, хотя боюсь это громко высказать, с ее смертью он, может быть, подсознательно почувствовал некий избыток свободы; но ведь человеку с белой палкой едва ли была нужна такая свобода.

Будь он жив, ему теперь исполнилось бы сто лет... Сто лет — такой долгий для каждого из нас срок, что мне это представляется едва правдоподобным, потому что для меня он все еще остается кем-то близким, дружески ко мне расположенным. Впрочем, зачем удивляться? Ведь, собственно, он всегда был человеком без возраста.

Ему исполнилось бы теперь сто лет... Значит он родился в дни, когда царствовал Александр II и доживали свои последние годы Достоевский и Тургенев. А на другом конце его жизни оказалась уже даже не «взвихренная Россия», а советская страна, в которой не осталось в живых ни одного из спутников его жизни, страна, которая была для него наглухо закрыта, к которой он, может быть, тянулся, но где он был бы меньше «ко двору», чем в любой из стран западного мира. Для уроженца Замоскворечья, где при его рождении еще свежа была память об Аксаковых и Киреевских, для него — последнего из «славянофилов» в том лучшем, что связывается с этим понятием, — это было трагично.

И сегодня, думая о нем, я еще раз невольно вспоминаю,

как всякий раз, когда я покидал его жилище на рю Буало, он через довольно длинный коридор провожал меня до дверей, и неизменно произносил «Ну, идите с Богом». Это ремизовское «Идите с Богом», сказанное ласковым, чуть вкрадчивым голосом, до сих пор раздается в моих ушах.

ПОМЕРКШИЙ СПУТНИК

Вспоминаю, как, будучи еще гимназистом старших классов, я получил на Рождество в подарок от моего деда собрание сочинений Мережковского, заключенное в огромную коробку из претолстого картона. Я и сейчас вижу ее перед глазами. Кажется мне, что она вмещала свыше 20 томов. Я почти захлебывался от радости, потому что перед Мережковским преклонялся. Его трилогию «Воскресшие боги» я успел прочитать еще до получения подарка, а его «Вечные спутники» были как бы моей настольной книгой.

Затем, как видится на отдалении, «пролетел» совсем куцый отрезок времени и все вверх тормашками перевернула революция. Из полуголодного Петербурга, с превеликими трудами получив «заграничные паспорта», с родителями устремились мы в сытый «гетманский» Киев, а через некоторое время очутились в эмиграции. И вот в Париже, весной 21-го года на каком-то многолюдном собрании, приуроченном к едва завершившимся кронштадтским событиям, довелось мне впервые увидеть самого Мережковского. Выступал он среди прочих ораторов, из которых запомнился мне только степенный Карташев и сморщенный Бурцев.

Мережковский, маленький, тщедушный, красногубый, в своем выступлении точно острыми шпагами пронзал невидимых противников. Речь его была способна взволновать, хотя в его как будто заранее заученных жестах и модуляциях голоса был приметен легкий налет театральности. Но кому это мешало!

Тогда он, кажется, впервые во всеуслышание словно прожжужал так пришедшийся по вкусу аудитории и сопровождаемый громом аплодисментов лозунг — «Мы не в изгнании — мы

в послании». Собственно, все его выступление было развернутым комментарием к этим эффектным словам. Не знаю только, вспомнил ли он, сойдя с трибуны, свои собственные строки, одни из немногих запоминающихся из его поэтического наследия: «Дерзновенны наши речи, / Но на смерть обречены...».

Потом издали мог видеть чету Мережковских. Каждый день в определенный час их можно было встретить в одной из аллей, ведущих к Булонскому лесу. Если было прохладно, он устремлялся быстрыми шажками, словно стараясь вынырнуть из необычайно длиннополой шубы отнюдь не парижского покроя. Издали казалось, что Гиппиус в каком-то экстравагантном туалете — одеваться со вкусом она никогда не умела — словно одергивает своего супруга и удерживает его стремительность.

А познакомился я с ними позже в самом изысканном из парижских литературных «салонов», у милейших Ц. Как иногда бывает, несмотря на еще не стершийся пиэтет к «спутнику» моих юношеских лет, с первого взгляда, с первого незначащего рукопожатия я ощутил в нем что-то для меня неприятное, даже в каком-то смысле отпугивающее. Вероятно, из-за этого первого и в конце концов совершенно необоснованного впечатления я так и не стал посетителем его «воскресников», точнее журфиксов его жены, так как на них «хозяйкой дома» была она и только она. Сам Мережковский был почти на правах гостя.

В знаменитой в анналах русской литературы квартире на «рю де колонель Бонне» мне случалось побывать не больше двух-трех раз, но я запомнил, что эта квартира резко отличалась от жилищ всех других русских литераторов Парижа. Да это и не мудрено — Мережковские снимали свою квартиру с «доисторических» времен, довольно безалаберно обставили ее в стиле модерн с ирисовыми разводами и — случай почти единственный — после революции прибыли в Париж с ключом от входной двери в собственную квартиру.

Но дело было, конечно, не в устаревшем к тому времени «югендштиле». Мне было как-то почти неловко наблюдать сидевших вокруг чайного стола гостей, в большинстве моих приятелей, которые здесь точно преображались, пыжились, чтобы «прыгнуть выше головы» и щегольнуть каким-нибудь «неизданным» парадоксом. Впрочем, то, что говорилось, едва ли могло вдохновлять Мережковского; можно было подумать,

что и за чайным столом, среди гостей, он продолжает думать о своем и только о своем и едва ли кто-либо из присутствующих ему по-настоящему близок.

Мне была не по душе и направленная на меня лорнетка хозяйки дома, которая своими прищуренными глазами словно хотела разглядеть своего собеседника насквозь. Впрочем, вероятно, я пристрастен — делала она это без всякого умысла, просто по близорукости, которую часто преувеличивала, как преувеличивала свой дурной слух. Недаром Бунин говорил, что у нее все с расчетом, что просто она ничего не делала, просто не писала даже дневник, всегда с каким-то затаенным вторым... десятым смыслом.

Всегда ли? Адамович не раз говорил, что провести вечер с Гиппиус с глазу на глаз бывает на редкость «уютно и питательно», когда не надо говорить о высоких материях, а можно поболтать о том, о сем, вспоминать старое или посудачить о «младом племени» воскресных сборищ. Всего этого Мережковский не терпел. Он был книжником, вероятно, не мог бы отличить клен от дуба или рожь от овса. Его мир замыкался полками его библиотеки, а собственные его книги были нафаршированы умело подобранными цитатами из малодоступных источников, которые он талантливо скреплял «междуцитатными мостиками», так или иначе вставляя между строк разговор о «двух безднах» — бездне вверху и бездне внизу. Ирония была ему чужда, анекдотов он не выносил да едва ли был способен понять их соль. Он разгорался только при обсуждении какой-нибудь метафизической темы, тут он мог даже вспыхнуть. Недаром Блок говорил о нем, как об «отвлеченном» человеке, а с годами эта отвлеченность только крепла.

В Париже нельзя было восстановить некогда нашумевшие «религиозно-философские собрания», не было епископа Сергия, чтобы на них председательствовать, придавая им вес, не было Победоносцева, чтобы их запретить. На худой конец была придумана «Зеленая лампа», но ее пушкинское название никак не вязалось с ее сущностью. В переполненном преимущественно дамами зале на заседаниях «Лампы» говорили о «смысле жизни» или лучше сказать, о вещах, о которых лучше думать, чем наспех ораторствовать.

Вероятно, вся личная неудовлетворенность Мережковского происходила оттого, что он всегда был чрезмерно одинок; приобретал знакомых, но едва ли имел друзей. Он не переста-

вал твердить о «безднах», а едва ли многие хотели заметить, что эти бездны скрыты в нем самом.

Теперь, на известном расстоянии, когда оба они отошли в лучшие миры, я все яснее понимаю негодование Бунина, вызванное весьма настойчивыми предложениями четы Мережковских подписать нотариальное (непременно нотариальное) соглашение о дележе шкуры неубитого медведя, сиречь о дележе нобелевской премии, ежели паче чаяния шведский золотой дождь прольется на одного из них. Бунин не совсем зря говорил, что от «витания в небесах» до хождения к нотариусу шаг невелик!

А ведь теперь становится все более очевидным литературный рост Бунина и угасание Мережковского. Даже может показаться странным, что когда-то их ставили, так сказать, на одну доску и в литературной «табели о рангах» причисляли к одному разряду.

Конечно, нельзя зачеркнуть роль Мережковского в культурном возрождении России начала века, роль вполне замечательного «культуртрегера». Нелепо забывать значение этого «запойного игрока в символы», как о нем очень метко сказал Розанов. Достаточно просмотреть статьи или письма того же Розанова, Блока, Белого, Бердяева, Шестова, Ремизова, любого представителя «серебряного века», чтобы в этом убедиться, чтобы ощутить удельный вес Мережковского. Но как падающая звезда, он ярко осветил русское небо и погас. Погас именно тогда, когда очутился в «изгнании», не достигнув того (да это было и немыслимо), чтобы быть в «послании».

Можно поэтому понять, что теперь, когда точно из рога изобилия сыпятся переиздания всяких русских книг, часто никому не нужных, никто не подумал о переиздании Мережковского, даже лучшего и, вероятно, наиболее непреходящего в его литературном наследии исследования о Толстом и Достоевском, о «тайновидце плоти» и «тайновидце духа». Впрочем, оговорюсь, в Англии была переиздана его книжечка о Пушкине, собственно, заключительная глава его «Вечных спутников». Она вызывает теперь чувство недоумения, так как почти сплошь основывается на подложных воспоминаниях Смирновой, той, которая «шутки злости самой черной писала прямо набело». Но эти воспоминания — и в этом едва ли можно сомневаться — были сочинены ее дочерью, которая ни за что, ни про что вкладывала в уста Пушкина разговоры о бессмер-

тии души и об «обаянии зла». Мало того, по словам Мережковского, псевдо-Смирнова разоблачала «то, что мы, так сказать, видя — не видели, слыша — не слышали», а в придачу повествовала об оценке Пушкиным «Трех мушкетеров», увидевших свет через четыре года после дуэли на Черной речке!

Можно ли удивляться, что современному читателю невдомек знакомиться с романами Мережковского, в которых действуют приодетые в костюмы эпохи искусно расставленные манекены, все как на подбор произносящие софизмы в духе самого автора да еще с обилием — часто чуть раздражающих — фраз, лишенных подлежащего.

Можно легко поверить Бунину, который рассказывал, что как-то на ночь принялся за чтение монографии Мережковского о Данте, на какой-то странице заснул, а проснувшись возобновил прерванное чтение и не сразу обратил внимание на то, что Данте за ночь превратился в Наполеона. Оказалось, что он взял со своего ночного столика другую книгу Мережковского, но строй фразы, словарь, ритм повествования были настолько однотонны, что он не сразу заметил свою оплошность.

В одном из стихотворений Мережковского есть строка «Холод утра — это мы». Это подлинно пронзительные слова, за которые ему многое зачтется. Но знал ли он, когда ему их нашептывала его Муза, что трудно было придумать более точное автобиографическое признание. Да, именно «холод утра — это мы», «мы» потому, что ведь не скажешь «это я!».

ЗАЙЦЕВ И ИТАЛИЯ

Перечитывая теперь некоторые книги Бориса Зайцева, я стал вспоминать мое долгое знакомство с этим, вероятно, «последним из могикан» среди парижских москвичей. Мне, вероятно, никогда не случалось видеть его удостовение личности, но меня бы не удивило, если на нем в графе «национальность» стояло бы — «арбатец»!

Однако, несмотря на всю свою врожденную любовь к старой Москве была у Зайцева еще другая — отнюдь не подспудная — непреходящая любовь, которая порой даже налагала некоторую тень на ту первую и главную.

Этой второй любовью, которая возникла, если не ошибаюсь, во время традиционного свадебного путешествия и отчетливо проявилась в его раннем романе «Золотой узор», была любовь к Италии, к ее городам и городкам, к ее пейзажам, к ее языку и песням, к какой-то ее внешней, уже ставшей теперь далеким пережитком, лености и, главное, к чарам Рима. Им и подпал Зайцев, хотя, собственно, не один только «вечный город» чаровал Зайцева, его зачарованность распространялась на всю «страну высоких вдохновений».

Как характерно для Зайцева, что под его взволнованно-лирическим «репортажем» о Риме значится «Сельцо Притыкино, Тульской губернии, декабрь месяц 1919», а над другой из его «итальянских» статей, почти стихотворением в прозе, посвященном Ассизи, такое же указание, только год другой.

В этом Притыкине, где находилось именьице отца писателя, Зайцев пытался отгородиться от всех неурядиц и рассчитывал спастись от наступавшего в Москве голодного положения. Оказалось, однако, что и в патриархальном Притыкине жизнь была далеко не легкой. Волнения, точно круги по воде,

расходились по всей русской земле и не могли не достигнуть тульской деревушки. Опасности, как потом рассказывал Зайцев, с каждым днем сгущались над головами притыкинских обиталей, недаром здесь они числились «помещиками». Что в эти дни могло быть менее «уютно»? Все же, пока была возможность, Зайцев как бы «играл в прятки», трудился, читал, писал, мечтами уносился в Италию.

Из этих притыкинских фрагментарных записей впоследствии составился целый том, так и озаглавленный «Италия» и для ее автора эта страна, казавшаяся, пока он книгу писал, только недосягаемой мечтой, некой антитезой тому, что происходило вокруг, сублимировалась: она соединяла блистательное прошлое не только с влекущим к себе настоящим, но и с заманчивым будущим.

Все эти зайцевские отрывки, собранные в взволнованном беспорядке, осколки набежавших мыслей и беглые, импрессионистические записи — все они тем более поэтичны, что многое записывалось еще при первом знакомстве, в тот блаженно-спокойный период, когда вся жизнь была еще впереди. Главное же в переживаниях Зайцева, что чувствуется на каждой странице его итальянской книги, где бы и когда бы отдельные ее части не писались, это некое спасибо Италии за то, что она существует, что она именно такая. Это отражается в каждой детали, оседает хотя бы на стакане легчайшего, зато пьянящего белого вина римских окрестностей — «кастелли романи».

Я более подробно напомнил об этой книге, вероятно, в литературном наследстве Зайцева второстепенной, потому что, как мне кажется, психологически она для его очень существенна и без нее весь его облик был бы неполон. Едва ли можно сомневаться, что в будущей биографии писателя глава «Зайцев в Италии» займет значительное место, не благодаря его путевым заметкам, а потому, что те впечатления, которые в него внедрялись после прогулок по Аппиевой дороге или после сидения за рюмкой вермута в кафе «Греко» за тем столом, за которым Гоголь вступал в словесный бой с Александром Ивановым, были не только неизгладимы, но не раз проступали и в его более позднем творчестве.

А спасаясь из Притыкина, Зайцев с семьей возвратился в Москву, изменившуюся за несколько месяцев его отсутствия, в Москву с трагически-убогим бытом, с разобранными заборами

вокруг старых, словно покосившихся за это время особнячков, с нескончаемыми очередями за получением какого-то непитательного пайка.

Но Зайцев был тогда молод. С его слов я знаю, как в этом «незнакомом» городе он стал усердно изучать петрарковский «Канцониэрэ» и затем принимал активное участие в созданном под руководством Муратова — «Студио Италиано», чем-то совершенно парадоксальном на фоне московской разрухи.

Цикл докладов в этой анахронической студии был открыт именно Зайцевым, читавшим своим слушателям, дрожавшим от холода, сидя в обветшалых шубах, о дантовском пейзаже и дантовской символике. «Вряд ли когда-либо и где-либо, кроме России, в такой обстановке могли читаться доклады, да еще о Данте», справедливо замечал Зайцев. Действительно, вряд ли... Но, вместе с тем, — это надо почувствовать, потому что объяснить невозможно — эти беседы о флорентинском изгнаннике согревали лектора и помогали ему пережить страшное время. Вероятно, это относилось и к его продрогшим слушателям. Далекая дантовская Италия оказывалась духовным прибежищем и самого Зайцева и небольшой группы его «экстравагантных» слушателей.

Но всем этим «баловствам» вскоре суждено было прекратиться. Мог ли сам Зайцев или его коллеги по «Студио Итальяно» мыслить по-марксистски? Мог ли он говорить о «борьбе классов» в дантовском «Аду»? «Кончилось младенчески-поэтическое и началось схождение в горький мир, в «темный лес», писал Зайцев. Этот «темный лес» был, вероятно, страшней, чем тот, в котором заблудился Данте «в начале его жизненной дороги».

Некий спаситель все же явился зайцевскому семейству в облике чиновника какого-то учреждения, выдававшего заграничные паспорта — в этом отношении времена были «либеральные» и чиновник, к удивлению Зайцева был вежлив и чуть ли не предупредителен. Всякое бывает... Первой остановкой на эмигрантском пути был Берлин, а оттуда он двинулся — на недолгий срок — в ту Италию, о которой так мучительно мечтал.

Мечта стала реальностью в сентябре 1923 года, дату сужу по сохранившейся у меня открытке из Венеции, в которой Зайцев писал мне: «Все на местах. Все как было и от пережитого стало еще трогательней и прекрасней. День идет за год». А на

обороте: «Предельно счастливы, так, что трудно выразить». А чуть позже из некогда излюбленного русскими туристами, но теперь как-то выпавшего из туристской карты, Кави, местечка на берегу серо-зеленого Тирренского моря, по которому плавал Эней, Вера Алексеевна черкнула: «Мы живем дивно. Боря счастлив и доволен, что в Италии. Все чудесно...». Для Зайцева, может быть, это были одни из самых счастливых его дней. После Притыкина, «своего» Притыкина, откуда пришлось спасаться, после голодной Москвы, переставшей быть «своей», после берлинского бивуака контраст был, действительно, разительный и несомненно он тогда и не замечал, что и Италия была не совсем той, которая ему мерещилась и которую он воспевал.

Может статься, что на этом теплом тирренском берегу окончательно оформилась в Зайцеве мысль о переводе всего дантовского «Ада», хотя работать над этим переводом — правда, отрывочно — он начал задолго до того. Что им руководило? Зайцев стихом не владел и для своего перевода избрал ритмическую прозу, переводил строку за строкой с подлинника, изучая при этом, классический, но уже чуть устаревший дотошный комментарий Скартаццини.

Работал он над своим «Адом» долго, не спеша, с промежутками, как он сам указывал. Эта работа «утешала и поддерживала его в тяжелые времена войны, революции и нашествия иноплеменных» (к этой формуле он неизменно прибегал, имея в виду нацистскую оккупацию Парижа).

В послевоенные годы зайцевский «Ад» вышел в свет. Была ли эта стоившая стольких усилий трудная работа литературной удачей? Может быть, Зайцев, как до него нежно любимый им Жуковский после окончания работы над «Одиссеей», ожидал «великих последствий» и относился к своему детищу с «великой серьезностью, почти священнодейственно». Но Зайцев едва ли мог полагать, как это делал Жуковский, что «Ад» в его переводе — главное, что ему зачтется. К сожалению, зайцевский Данте шуму не вызвал, книга прошла едва замеченной. Ритмическую прозу подолгу читать трудно, «падре Алигиери» не был «созвучен» эпохе, а к тому же почти в то же время появился отличный стихотворный перевод всей «Божественной комедии», сделанный Михаилом Лозинским.

Но разве для Зайцева дело было в «лаврах»? Ведь главным стимулом в его кропотливой работе было еще раз показать свою любовь к Италии и ее прошлому, к Италии полувоображаемой, даже к той, которой, собственно, уже давно не было.

«ЕВРОПЕЕЦ» С АРБАТА

Герой единственного муратовского романа «Эгерия», описывавшего необычайные злоключения молодого художника-ученика «великого» Пиранези, по какому-то поводу говорит: «Я всегда думал, что многие из нас живут не своей жизнью». Перечитывая эту не вполне обычную книгу, написанную в Москве в голодные годы и ныне забытую из-за ее несколько вычурной словесной ткани, из-за того, что порой трудно свыкнуться с мыслью, что это оригинальное произведение, а не перевод, я обратил внимание на эти, казалось бы, вскользь брошенные слова. Мне почудилось, что они могли бы стать эпиграфом к клочкам воспоминаний о встречах с их автором.

Муратов... «Патя», как его в свое время фамильярно звала вся литературная Москва, хотя в той арбатской среде именно он был, пожалуй, одним из немногих «европейцев» в полном смысле этого слова. Имя его сегодня мало что говорит молодым поколениям, но мои сверстники, еще хотя бы туманно помнящие предреволюционные годы, могут подтвердить, что едва ли среди интеллигенции была семья, на книжной полке которой не стояли бы муратовские «Образы Италии». Этот двухтомник был не только увлекательным чтением и свидетельством глубокой эрудиции их автора, но в придачу он сыграл немалую роль в деле русско-итальянского культурного сближения. Под его влиянием тысячи русских экскурсантов — студентов, учителей, людей самого скромного достатка — по смехотворно удешевленным тарифам ездили обозревать памятники итальянского Возрождения, бродили не только по Риму или Флоренции, но и бороздили городки Умбрии и Тосканы, о которых услышали впервые от Муратова.

Но все же, почему я привел цитату из «Эгерии»? Я вспомнил ее, восстанавливая в памяти физический облик Муратова. Был он невысокого роста человечек, внешне ничем не примечательный, а между тем, поговорив с ним, сразу можно было ощутить, что цену себе он знает и, думается, оставаясь наедине и если перед ним не было зеркала, мнит себя человеком высоким и представительным, может быть, неким воплощением Казановы, потому что влюбчивость его не знала предела. Когда-то он переводил новеллы итальянского Возрождения, писал отличные монографии о ярославских храмах, позднее книги о византийской живописи, о нежнейшем Фра Беато, о Сезанне, а между тем — по его внутренним импульсам — вероятно, ему было более сподручно сидеть над штабными картами и разрабатывать стратегические планы. Едва ли я ошибусь, если скажу, что свое подлинное призвание он скорее ощущал в составлении диспозиций, этаких **«die erste Kolonne marschiert»** и, может быть, только физические данные не позволили ему осуществить эти затаенные устремления.

Муратов приехал с семьей за границу в начале двадцатых годов, кажется, с какой-то «липовой» командировкой и долгое время не хотел переходить на положение эмигранта. Он настолько серьезно готовился к предстоящему вот-вот возвращению в Москву, что я уже вручил ему пакетец для передачи одной моей московской приятельнице.

В связи с Муратовым застрял в моей памяти курьезный эпизод. В Берлине мы тогда встречались довольно часто и как-то невзначай он спросил меня, езжу ли я на скачки. Узнав, что на скачках я вообще никогда не был и в лошадях не смыслю, он взглянул на меня с таким презрением, что я тотчас осознал свою оплошность. «Этот пробел в вашем образовании я заполню», сказал он, вызвался быть моим ментором и на следующий же день мы отправились на скаковое поле. Он привел меня в «паддок», пристально рассматривал лошадей, одних с ученым видом похлопывал по крупу, других сразу отвергал. Затем куда-то исчез и вернувшись на трибуну, спросил, последовал ли я его указаниям и поставил ли на лошадь, которая, мол, не могла не победить. «Бегите, авось вы еще успеете поставить до звонка». В его тоне было столько убедительности, что я ринулся к какому-то окошечку и впопыхах протянул чуть ли не всю свою наличность. Я с гордостью продемонстрировал моему «учителю» билетик с жирной цифрой «17». «Безумец, что вы наделали»,

возопил обычно спокойный Муратов, «я же говорил вам, что нужно ставить на «семерку». Видно, я ослышался. Но что порой делают боги ристалища — к финишу пришла именно «моя» лошадь и выдача была поистине астрономической. Это был тот инфляционный период, когда деньги обесценивались за ночь и потому нам тогда пришлось кутить до рассвета. Но мое неожиданное везение на момент озлобило Муратова. Он был оскорблен тем, что «случай» как бы подтачивал его авторитет, а он — хочу быть правильно понятым — всегда был врагом «случая». В его мире даже иррациональное не было случайным.

Он писал ученые книги, рассказы, комедии, статьи и для Муратова-беллетриста мне кажется крайне характерен его рассказ «Морали» — повестушка о том самом «корсаре в отставке», который упоминается в «Путешествии Онегина». До определенной точки Муратов соблюдал пушкинскую тональность, передавая множество деталей одесской жизни: тут и «услужливый Отон», и премьера россиниевской оперы и даже «муж», спросонку кричащий «фора»! Ничего не упущено, но в этот готовый каркас Муратов вплел столько неожиданных измышлений, что историчность почти растворяется, оставляя место собирателю старинных безделушек. В художественной прозе Муратова с присущим ей налетом эстетизма «сердца горестные заметы» редки и ему более с руки «ума холодные наблюдения», порой облачающиеся в неотмирную фантастику. Он всегда сперва ценитель, а только потом творец.

Пропустим несколько лет... Перебравшись в Париж, Муратов на первых порах посвятил себя популяризации древнерусского искусства, в те дни западному миру едва ли знакомому. Французская его книга о русской иконе стала в какой-то мере событием, не столько в силу ее научной ценности, сколько благодаря обилию в ней превосходных репродукций и ее относительной доступности, и сразу сделалась популярной. Она открыла иностранному читателю целую область искусства, остававшуюся не только недооцененной, но просто неведомой. Кто в те дни слыхал имена Андрея Рублева или Феофана Грека? Какой музеевед способен был отличить икону новгородского письма от других? Тяга к собирательству иконы, которая с тех пор не перестает расти, своим возникновением в первую очередь обязана Муратову.

Но в один прекрасный день — уж не знаю, какая муха его укусила — Муратову стало тесно оставаться историком искусст-

ва. Его скрытое «я» требовало иной активности и он ударился в публицистику, заняв при этом довольно крайнюю и несговорчивую позицию. В этой новой для него роли он сразу же стал авторитетом, и его газетные передовицы (никогда не подписанные, но которые можно было сразу узнать по глубине мысли и по прекрасному и не-газетному русскому языку) были «сработаны» умело, четко, по-своему убедительно.

Я тогда редко встречал его, он вращался в чуждой мне «орбите». Но мне все же кажется, что его поправение было вызвано ощущением каких-то подземных гулов, в которых он улавливал наступление новой, враждебной ему эпохи. Он вдруг понял, что «красота мир не спасет», а ведь именно этой идеей были пропитаны все его прежние писания. Он, может быть, раньше других почуял переход «культуры» в «цивилизацию», и это ощущение в известной степени ожесточило его и, в частности, можно думать, продиктовало ему резкую и раздраженную статью о «Дедушках и бабушках русской революции», в которой он обвинял во всех смертных грехах всех революционных деятелей «от Ромула до наших дней». Эта как-никак, особенно под пером утонченного Муратова, примитивная в своем построении статья в значительной мере усилила его замкнутость и стремление оставаться «наедине с собой».

Почти накануне мировой войны Муратов перекочевал в Англию, забыв не только политику, но и литературу, из искусствоведа он превратился в автора серьезнейших книг по военным вопросам. Впрочем, для тех, кто его знал, в этой новой метаморфозе была своя закономерность. Может быть, когда он в сотрудничестве со своим старым другом, Алленом, с таким увлечением и наскоком трудился над анализом советско-германской войны, он только в этот момент и зажил «своей жизнью».

Умер Муратов в 1950 году в дождливой ирландской глуши, в имении своих друзей, полузабытый, проводя долгие дни, если не годы, в невеселом одиночестве.

А между тем — повторяю — его «Образы Италии» в свое время представляли значительное явление в той области искусствоведческой художественной прозы, которая была так чужда русской литературе и в которой во Франции прославился Тэн, в Англии — Уолтер Патер. Этого забывать не следует.

«ТЭФФИНЬКА»

Происходило это во времена незапамятные, в самом начале Первой мировой войны. Как-то, отправляясь за рождественскими покупками, отец прихватил меня с собой. В те далекие дни на углу Невского и Мойки существовал известный большинству петербуржцев «Английский магазин», в котором можно было приобрести буквально все, «чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильной» и, конечно, все наипревосходнейшего качества. Естественно, что в эти предпраздничные дни покупателей там была уйма и около кассы установился небольшой хвост.

«Посмотри, шепнул мне отец, вон та дама перед нами — это Тэффи». По сей день не могу забыть восторга, вызванного этими словами. Я, как шальной, стал вертеться вокруг да около «незнакомки», стараясь попристальнее разглядеть ее и только мой возраст был порукой того, что мое поведение не вызовет какого-нибудь инцидента.

Подумать только... передо мной находилась настоящая, живая, знаменитая писательница — вероятно, первая, которую мне случилось воочию лицезреть. Да, при том, не просто какая-то там писательница, а такая, о которой я недавно услыхал, будто сам царь — один из ее рьяных поклонников. А, кстати сказать, несколько позже оценил ее по заслугам и сам Ленин и по его «совету» в 1920 году нежданно-негаданно на страницах «Правды» появился ряд ее фельетонов, перепечатанных из парижской эмигрантской газеты (без уплаты гонораров!).

Могло ли мне тогда мерещиться, что через каких-нибудь десять лет после этой «призрачной» встречи я буду частенько видеть Тэффи на берегах Сены и заведу с ней приятельские отношения.

Мне хотелось бы тут же отметить, что по моим долголетним наблюдениям Тэффи, как человек, а не только как литератор, была какая-то «особенная», под общую стать не подходила. Дело было не только в ее врожденной талантливости и остроумии, но в ее отношении к едва заметным мелочам окружающей жизни, в том, как быт — частенько скудный и невеселый — преломлялся в ее сознании, вызывая в ней порой непредвиденные реакции.

Так, один из ее коротких рассказов, среди более поздних, «Светлый праздник», начинается словами, казалось бы, для словаря Тэффи необычными: «Нет, Господи, есть все-таки на свете души, в которых еще цветет голубой цветок романтизма». Может быть, в этой фразе и заключен весь «секрет» Тэффи.

Профессиональная юмористка, высмеивавшая пошлость и мещанство во всех его проявлениях, а затем и эмигрантщину (смешные стороны можно найти и в трагических явлениях), она выделялась тем, что до конца дней сохранила неувядшим «голубой цветок» романтизма. В ее веселости, в ее «смешке» неизменно ощущалась жалость к человеку, сострадание к нему, стремление прийти ему на помощь. Это свойство ее было равно ощутимо в ее писаниях, как и в более наглядной форме в самой жизни.

У меня сохранилась пачечка ее писем. Их немного, так как жили мы долгие годы в том же городе и при существовании телефона большой надобности в переписке не было. Но когда она писала, это было для напоминания о нуждах ее подопечных, просьба не забыть о какой-то газетной заметке или «подсунуть» какому-нибудь местному «меценатику» билет на очередной вечер «начинающего» автора, преимущественно из великовозрастных.

Она любила не только отдельных людей, но любила общество, любила, чтобы ее окружали собеседники, любила принимать у себя и даже устраивать бриджи, хотя сама едва ли была способна различать масти. Может быть, наблюдая за воркотней бриджеров, она собирала материал для очередного «скэтча».

Даже в самые последние годы ее жизни, когда ее здоровье уже было непоправимо расшатано и выходить из дому стало ей невмоготу, она, чтобы рассеяться, приглашала к себе друзей, послушать, что происходит вокруг или чуть посплетничать (отчего бы и нет?). В эти годы в материальном отношении жизнь ее

была далеко нерадужной, однако это не отражалось на ее врожденном гостеприимстве, на ее любопытстве к людям.

Вспоминаю, как она позвала меня на какой-то «файф-о-клок» и я пришел к ней, когда еще никого у нее не было. Она буквально набросилась на меня: «Слушайте, дорогой мой, в конце концов, кто написал «Птичка Божия не знает» — я перерыла всего Пушкина, хоть у меня и хромое берлинское издание, ан нету, затем перелистала всего Лермонтова, опять нет, не мог же это написать Плещеев!» — «Надежда Александровна, ведь это из «Цыган» — «Ангел, вы спасли меня, мне эта «птичка» была до зарезу нужна, а я никак не могла ее поймать», и она обняла и поцеловала меня. Это был ее первый и последний поцелуй, потому что так вышло, что после этого дня я ее вообще больше не видел. Она вскоре скончалась, когда меня в Париже не было.

Последние ее сборники рассказов озаглавлены «О нежности» и «Все о любви», и эти заглавия красноречиво отражают ту вечную тему, которую Тэффи очень по-своему трактовала чуть ли не в течение всей своей долгой литературной жизни.

Один из зарубежных остроумцев когда-то пошутил, что «Тэффи» — аббревиатура двух отвлеченных понятий — «тэ» для «теологии», «фи» для «философии»! В этом каламбуре, если хотите, скрыт какой-то осколок правды: ведь, действительно, все писания Тэффи пронизывал некий «философский» лейтмотив, который можно было бы определить словами Спинозы, взятыми ею в качестве эпиграфа к одному из ее сборников. «Смех есть радость, потому сам по себе — благо», сказал амстердамский мудрец.

Вспомним хотя бы ее книгу «Городок», посвященную давно уже ушедшему русскому Парижу. Она повествовала о том, как «скученно жило население этого городка, занималось промыслами, молодежь большей частью извозом — служила шоферами, а люди зрелого возраста содержали трактиры или служили в этих трактирах: брюнеты в качестве цыган или кавказцев, блондины — малороссами. Женщины шили друг другу платья и делали шляпки, мужчины делали друг у друга долги. Кроме мужчин и женщин, население городишки состояло из министров и генералов. Из них только малая часть занималась извозом, большая преимущественно долгами и мемуарами. Мемуары писали для возвеличения собственного имени и для посрамления сподвижников. Разница между мемуарами заключалась в том, что одни писались от руки, другие на пишущей машинке...».

Можно ли упрекнуть Тэффи за тенденциозность такого описания? Она окарикатурила картину русского Парижа первых лет эмиграции, но в ее описаниях неизменно чувствовался скрытый план, благодаря которому она пробуждала у читателя не только смех, но порой и слезы.

И с какой лукавой усмешечкой могла она выдумывать иные сценки, убеждая читателя, что пишет их «с натуры». Вот передо мной ее книга «Все о любви» с надписью «дорогому Бахраху с любовью о любви», с припиской «Не забывайте меня» и с густой черной чертой на полях одной из страниц книги, которая очевидно была ей по-особому дорога. На этой странице передан диалог героини с ее кавалером, которого прозвали Петронием, потому что он «носил галстуки в цвет костюма».

Героиня Тэффи просит Петрония рассказать ей о каком-нибудь из его приключений. «О чем?», заботливо спрашивает он. — «Что-нибудь о вечной любви, звонко говорит она, ведь вы когда-нибудь встречали вечную любовь» — «Ну, конечно, только такую и встречал. Попадались все исключительно вечные» — «Да что вы! Неужели? Расскажите хоть один случай» — «Один случай? Их такое множество, что прямо выбрать трудно...» — «И все вечные?».

Но в конце концов Петронию так и не удается найти пример «вечной любви». Однако Тэффи это не огорчает, она готова уверять, что все это будет излечимо, настанет время, когда не будет ни любовной тоски, ни умирающих лебедей и жить будут до ста лет. «Правда, чудесно?», добавляет она и характерно, что для того, чтобы обратить мое внимание на эту страницу, она ее отчеркнула.

«Не забывайте меня», написала она своим по-детски разборчивым почерком на своей книге. Но ведь ее и без того трудно забыть, трудно забыть ее смешок, переливы ее горлового голоса, весь ее силуэт, чуть изменившийся от того «одурения от лекарств», на которое она последние годы не переставала жаловаться.

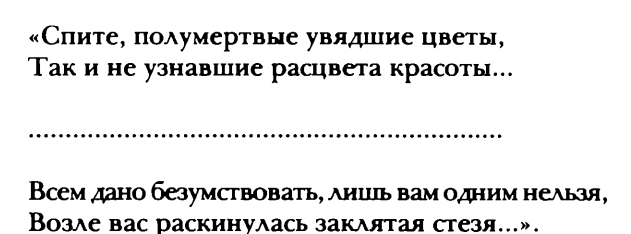
«Не забывайте меня»... я иногда перечитываю ее книги, сам про себя улыбаюсь и теперь еще более отчетливо, чем в свое время, ощущаю, что «голубой цветок» романтизма, несмотря на все жизненные тяготы и утраты, она пронесла до конца своих дней.

В сборнике «Поэты-сатириконцы» я читаю ее старый сти-

шок, завершающийся четверостишием: «Цветут тюльпаны синие / В лазоревом краю. / Там кто-нибудь на дудочке / Доплачет песнь мою!». Нет, Надежда Александровна, вашу песенку никто «не доплачет», не сумеет ее закончить — вы навсегда останетесь собой, такой, как вы были, как вы писали, как вас любили ваши многочисленные читатели и, конечно, никто не решится дополнять лишними мазками вашу песенку о «синих тюльпанах».

«НЕПРЕОДОЛЕННЫЙ ДАР»

Это происходило так давно, что тогда я еще был жителем Васильевского острова и учился в гимназии. Все же отчетливо вспоминаю, что в те далекие дни я почти преклонялся перед Бальмонтом и с превеликим упорством старался раздобыть у букинистов на Литейном давно распроданные квадратные тома «скорпионовского» собрания его сочинений. Даже в самом звучании его имени — конечно, с ударением на последнем слоге — чудилась мне какая-то экзотическая неразгаданность и я ни за что бы не поверил, что носитель такого неотмирного имени — уроженец Шуи, уездного городка, кажется, на берегах обросшей камышами Клязьмы. Каюсь, даже «чуждый чарам черный челн» казался мне высоким поэтическим достижением и именно назойливость этих аллитераций приводила меня в восхищение. Вторя моему отцу, я частенько мурлыкал про себя строки из «Придорожных трав», которые и мне и ему особенно полюбились:



«Спите, полумертвые увядшие цветы,
Так и не узнавшие расцвета красоты...

....

Всем дано безумствовать, лишь вам одним нельзя,
Возле вас раскинулась заклятая стезя...».

Тогда я и мечтать не смел, что когда-нибудь смогу встретить и пожать руку столь чтимому мной поэту. По молодости лет я еще думал, что небожители с простыми смертными не общаются!

Но прошли годы, Васильевский остров остался позади и я успел перезнакомиться едва ли не со всеми представителями литературного зарубежья. Однако, с отцом русского символизма встреча долго не имела места. Да, собственно, и в дальнейшем знакомство мое с ним было не более, чем «шапочным» и радости от этого я никогда не испытал.

Впрочем, странным образом сперва произошла так сказать «заглазная встреча». Выпустив книгу «Под новым серпом», то ли роман, то ли едва завуалированную летопись собственного детства, Бальмонт невесть почему попросил Алданова, редактировавшего тогда литературные страницы газеты, в которой я сотрудничал, чтобы для отзыва он передал книгу именно мне. Чем вызывалось такое пожелание, я тогда догадаться не мог. Однако, едва ли нужно добавлять, что если мой юношеский пыл к поэзии Бальмонта давно остыл, то как-никак выраженным им пожеланием я быль польщен до-нельзя. Ведь мне было тогда двадцать с небольшим лет! Сильно покривив душой, я нажал на все педали, чтобы повыспреннее высказаться о книге, в которой вместе с судьбой семьи Гиреевых и укреплением сознания молодого Гирика описывался уходящий быт русской провинции, расцвеченный пестрыми бальмонтовскими красками. Мне было бы сейчас несомненно стыдно перечитать эту рецензию или, вернее, «лже-рецензию».

Но затем должно было пройти еще какое-то число лет перед тем, как у общих знакомых произошла фактическая встреча. В те годы Бальмонт еще появлялся на некоторых пышных литературных «приемах», кое-как его еще приглашали, преодолевая страх, что он вызовет какой-нибудь инцидент.

Бородка его была по-прежнему рыжеватой, хоть и с заметной проседью. Был он по-прежнему представителен, хоть вместо орхидеи, изображенной на серовском его портрете, в петлице красовалась ленточка какого-то югославского ордена. Все же с грехом пополам и при известном воображении его еще можно было принять за престарелого испанского гранда, какими их изображал на своих полотнах Веласкез. Говорил он мало, только вступал в «бой», когда, по его мнению, разговор становился не в меру прозаичным и касался повседневности. О себе он неизменно продолжал говорить в третьем лице: «Поэт считает, поэт жаждет, поэт проголодался». Собственно, этим его «бальмонтовщина» и ограничивалась. Никакой «лазури» он больше

порывать не хотел, «горящие здания» несомненно вызвали бы у него панику.

Неожиданно он подошел ко мне и отвел в освещенную соседнюю комнату, остававшуюся пустой. «Поэт хочет отблагодарить вас за теплые слова о его романе, — вполголоса произнес он. — Мне хотелось, чтобы именно вы отметили его появление, потому что я оценил то, что вы написали о цветаевском «Ремесле». Ведь вы знаете, что она мой друг, а в поэзии она моя... тут он замялся и что-то пробормотал, то ли падчерица, то ли союзница, так я и не расшифровал. — Мы связаны с ней тем, — продолжал он, — что мы оба «зовем мечтателей» — тут он процитировал старые свои стихи, к чему вообще, как я потом убедился, часто прибегал. Думая, что я разглядываю его петлицу, он добавил: «Ведь нужно быть безумцем, чтобы считать, что одуванчик лучше или хуже орхидеи». Где-то это замечание я уже раньше читал, но, конечно, не подал виду, тем более, что в петличке была орденская ленточка, а это далеко не однозначно.

Мы вернулись к прочим гостям, он попросил у хозяйки стакан вина и мне показалось, что окружающая его обстановка, как и глядевшие со стен сезановские акварели, стали угнетать его. Проблески какой-то «усталой нежности», которую можно было ощутить, оставаясь с ним с глазу на глаз, сразу же потухли.

Он звал меня посетить его. Этим приглашением я воспользовался, кажется, только один раз. С ним было трудно, особенно трудно, потому что постоянно приходилось мысленно себя проверять, чтобы, не дай Бог, как-то его не задеть. Его ранили самые безобидные, самые нейтральные слова, которые он перетолковывал по-своему.

Характерно, что некоторые излюбленные им рассказы он повторял при каждом удобном случае. Так, уже тогда, при первой встрече в «шумном кругу» его старых знакомцев он без связи с тем, что обсуждалось, ввернул — в который раз все присутствующие это слышали — рассказ о своем посещении Ясной Поляны, к тому же давным-давно им напечатанный. Соль рассказа была в том, что он вздумал читать Толстому свои стихи и начал с «Запаха солнца». Толстой не мог скрыть своего недоумения, а Бальмонт неизменно добавлял: «Лев Николаевич умело притворился будто мои стихи ему не понравились». Говорил он это с такой убежденностью, что создавалось впечатление будто он верит в то, что говорит, хотя, конечно, известная доля

«театра для себя», вызываемая его самовлюбленностью, была налицо.

В общем, я встречал его считанное число раз, но каждый раз он говорил о том, как много он трудится, главным образом, по ночам, повторяя, что посмертное собрание его сочинений займет не меньше ста томов. Однажды он долго декламировал сочиненное им чуть ли не накануне, старался читать просто, без былых «фиоритур», только как-то по-особому выделяя носовые «н» и оставаясь совершенно безучастным к реакциям слушателей, вернее, к ее отсутствию.

Общее равнодушие к его творчеству не мешало ему обкладываться книгами, переводить и писать, писать, несмотря на то, что ни читателей, ни издателей ему уже не найти. Как-то пришли ему на помощь парижские грузины и несоразмерно большим кирпичом выпустили заново им переработанный старый его перевод знаменитой поэмы Руставели. Иногда с чтением докладов ему удавалось съездить в Прибалтийские страны, в Польшу, на Балканы. Там его ценили больше, чем в ставшем ему ненавистным — якобы из-за шума — Париже. Там принимали его еще с некоторым подобием былой «помпы», с аплодисментами и вызовами. После этих поездок Бальмонт садился за переводы поэтов посещенных им стран и в возвышенном тоне — конечно, стихами описывал пейзажи Литвы или Эстонии, ограничиваясь тем, что складывал свои рукописи одна на другую в ящики письменного стола.

Последние его годы были поистине мрачными — может быть это слово недостаточно. Полунищенское существование усугублялось душевной болезнью, постоянными неполадками, происходившими у дочери. Когда-то он писал, что «я буду петь о солнце — в предсмертный час», а умер он в годы нацистской оккупации Парижа в полнейшем одиночестве и его хоронили под проливным дождем, а за гробом, как я слышал, брела только многострадальная жена его и дочь.

А между тем... как бы не относиться к позднему Бальмонту, сколько бы неуместных насмешек не вызывал не совладавший с «демоном поэзии», по слову его друга Брюсова, «нежный Лионель», не надо забывать, что об авторе сборников «Горящие зданья» и «Будем как солнце» Блок писал, как о «замечательном русском поэте», Осип Мандельштам говорил о его «серафической поэтике», а Цветаева о его «непреодоленном даре» (эти цветаевские слова, да простит она мне, я и избрал для заголовка

этой статьи), о его «заморскости, океанскости, райскости и неприкрепленности», уподобляя Бальмонта «пловучему острову». Не приходися спорить, что некоторые его стихотворения, даже если их немного по сравнению с общей массой созданного им, навсегда останутся неотъемлемой частью антологии, включающей вершины русской поэзии. А этого достаточно, чтобы Бальмонт не был забыт.

НОЧЬ С АНДРЕЕМ БЕЛЫМ

В ту пору в Берлине — это было незадолго перед возвращением Андрея Белого в Москву — я часто с ним встречался. Можно без преувеличения сказать, что в эти дни он проходил через полосу «безумств» и отчаяния, которое усугублялось тем, что он сам толком не мог решить, что ему дальше предпринимать, хотя ясно чувствовал, что и для него эта нелепая «берлинская жизнь» приходит к концу; словом, он был в тупике.

От этого, вероятно, и рождалось его увлечение танцами. Впрочем, едва ли это слово в данном случае вполне приложимо — это было какое-то «действо» или, лучше сказать, своего рода радения, может быть, в чем-то напоминавшие те, которые он описывал в своем «Серебряном голубе». Иногда, особенно если находил спутников, он посещал более или менее благоустроенные танцульки, но чаще предпочитал им невзрачные пивнушки для развлечения своих, проживавших в околодке пожилых посетителей, заводившие пиликающий граммофон.

Один из таких тускло освещенных кабачков, если память мне не изменяет, находившийся где-то на Аугсбургской улице, Белый особенно облюбовал. Он почему-то вообразил, что питает нежные чувства к хозяйской дочери, фрейлейн Марихен. Он старался себя убедить, что эта пивнушка, весьма скромная и ничем от тысячи ей подобных не отличавшаяся, — обособленный мир, некий островок в гримасничающем и враждебном ему огромном городе. Он заранее решил, что клиентов этого заведения объединяет с его полуслепым хозяином некая «тайна» и, мол, каждый, кто туда заходит выпить кружку пива или «шнапс», стремится именно там «допить» свою жизнь, как в каком-то смысле он это делал сам.

Какой внутренний толчок породил такие чувства к этому

заведению объяснить едва ли возможно, как трудно постичь его тяготение — скорее воображаемое, чем реальное — к Марихен. В его зарождении менее всего была она сама повинна. Невзрачная, белотелая, каких в дюжине десять, это была типичная берлинская мещаночка на выданьи, едва догадывающаяся о той роли, которую она могла играть в жизни «герра профессора», как называли Белого посетители кабачка. Да и роль эту она выполняла вполне пассивно и без большой охоты, но она была дисциплинирована и хорошо воспитана, а родители считали, что не надо отталкивать хорошего клиента.

Белый принёс ей на прочтение немецкий перевод своего «Петербурга» и затем стал уверять, что Марихен оценила роман с бóльшей проницательностью, чем все присяжные критики. А я, будучи скептиком, сильно сомневаюсь, что она когда-либо эту книгу раскрыла! Но зато она терпеливо сносила все хореографические упражнения «профессора», его истерические телодвижения под звук граммофона да ещё в придачу потоки слов, хоть и немецких, но которые она, конечно, никак не могла понять и которые должны были ей казаться безумными.

Эта обычно-необычная атмосфера пивной — не какой-нибудь, а пивной Марихен — после того, как Белый уже оттанцевал солистом положенное число фокстротов и едва не падал от изнеможения от лишней рюмки скверного немецкого коньяка, настраивала его, если только вокруг него были подходящие собеседники, на серьёзные разговоры и признания. Круг его воспоминаний в конечном счёте неизменно концентрировался вокруг его неизжитой любви, вероятно, единственной подлинной в его жизни. Впрочем, имен он тогда не называл.

Белый не раз водил (именно «водил») меня к этой самой Марихен, хоть я никак не мог разделять его преклонения перед этим, как он утверждал, «совсем берлинским» местом. Мне оно всегда казалось малопривлекательным, скорее пошловатым и филистерским, чем чем-либо другим. Сколько бы Белый меня ни убеждал, я не способен был уверовать в «тайну» этого заведения, как не мог принять Марихен за какое-либо подобие «прекрасной дамы». Она, если и не была вполне Альдонсой, то уж никак не Дульцинеей. А сейчас при всём желании я не мог бы восстановить её облик перед моими глазами, именно потому, что она, собственно, ничем не выделялась. Хотя в стихотворении, ей посвящённом, Ходасевич и нарисовал её почти тра-

едийными штрихами («Зачем ты за пивною стойкой? / Пристала ли тебе она?»), я, как ни стараюсь, не вижу ее.

Однако, строки Ходасевича произвели тогда на Белого сильное впечатление. Это была «вода на его мельницу», хотя бы воображаемую, а ведь «эпоха Марихен» длилась как-никак в его жизни несколько добрых месяцев. Между тем, что вполне вероятно, если эта самая Марихен ещё жива, то несомненно стала объёмистой немецкой «бюргершой», наплодила потомство, может быть, продолжает цедить пиво в кружки и едва ли способна вспоминать о непонятном русском «профессоре» и хилом русском поэте, которые её увековечили.

Но, как бы там ни было, один вечер в этой самой пивнушке я едва ли сумею когда-либо забыть. Это был вечер как вечер. Поначалу он мало чем от многих других отличался, но после закрытия кабачка — вероятно, около двух часов ночи — Белый предложил мне пройтись с ним, ему еще не хотелось ложиться спать. Мог ли я ему отказать? Мог ли я оставить его в этот час и в его состоянии? По ночному, бесконечному и почти безлюдному Курфюрстендамму, тому самому, о котором в своей «Обители царства теней», он, парафразируя Пушкина, писал, что ходить по этой широкой аллее ему было всегда «курфюрстендаммно и тошно», мы шли и шли и еще шли. Белый говорил не оставнавливаясь. Это был монолог без начала и без конца, в котором, как рефрен, то и дело повторялись имена Любовь Дмитриевны Блок, Аси Тургеневой — первой жены Белого и доктора Штейнера. Все трое сопровождались эпитетами, которые не берусь восстанавливать. Талант Белого к созданию прилагательных общеизвестен.

Мы прошли изрядное количество километров, пока случайно не свернули на одну из боковых улиц, на которой находились огромные, белеющие в темноте газовые резервуары, отражающие лунное сияние. Эти резервуары — после всего, что было перед тем сказано и выпито — действительно, казались чем-то неотмирным и весь окружающий пейзаж уже перестал быть городским, а того менее берлинским. Белый вдруг обратил внимание на дощечку с названием улицы и с удивлением стал к ней присматриваться. На ней значилось «Гейсбергштрассе», была она, может быть, окрещена так в честь какого-нибудь почтенного деятеля берлинского муниципалитета.

Но совсем по-иному воспринял эту надпись Белый. Он

буквально разрезал ночные сумерки криком: «Да, так я и чувствовал... мы проникли на «Гейстбергштрассе». Не знаю, сделал ли он это с умыслом, но вставив в название улицы одну букву «т», получалось, что мы попали на «гору злых духов». «Ведь они преследуют меня всю жизнь», завопил он и точно обезумел от собственных выкриков. Он с невероятной силой оттащил меня, словно спасая из пасти дракона, и только когда «Гейстбергштрассе» осталась уже позади, чуть успокоился и начал запутанный, но «логически» построенный и внешне вполне ясный рассказ о том, как в одном из своих предыдущих воплощений он был... Микель-Анджело. За этим головокружительным «признанием» следовали всевозможные детали из жизни великого флорентинца, которые передавались все в первом лице: я рисовал, я лепил, я строил...

Ни до того, ни после я никогда не слыхал от Белого о его вере в метемпсихоз, никогда не говорил он при мне о «переселении душ» и я не знаю, в какой зависимости от антропософского учения могло находиться это «переселение», тем более, что антропософию он тогда решительно отвергал и рисовал его основателя под маской демонического «доктора Доннера». Во всяком случае, признаюсь, что у меня в тот момент отнюдь не было впечатления, что все это только «спьяна». Напротив, мне казалось, что переступив окаянную «Гейсбергштрассе», хмель из него мгновенно выветрился и на обратном пути разговор велся уже в совсем другом ключе.

Отмечу при этом, что рассказывая много лет спустя о моей ночной прогулке кое-каким штейнерианцам, никак и ничем между собой, кроме общей веры, не связанным, они как один человек приходили в трепет: «Да, как же он мог говорить это вам... ведь это тайна, это нельзя раскрывать...». Добавлю еще, что только впоследствии я узнал, что когда-то на Гейсбергштрассе находилась ложа (не знаю, правилен ли этот термин) берлинских антропософов. Вполне возможно, что Белый тогда о ее переезде не знал и, вероятно, эта близость чего-то, что его отпугивало, а отнюдь не газовые цитерны, вызвала в нем такой необычайный припадок «паники».

Столько лет прошло, что мне теперь не только трудно, но даже по какому-то неловко передать все детали фантастического, полубредового беловского рассказа, его тональность, его почти оккультную силу и его... убедительность. Да, на фоне того марсианского пейзажа, который перед тем открывался на-

шим взорам, красноречие моего спутника гипнотизировало меня и в эту минуту — хотя бы только на одну минуту — я готов был поверить всему, что он говорил, я не мог ему не поверить. Мне, действительно, было не до смеха и я никак не мог ощущать то, чему был свидетелем, как некий «гротеск», как очередной беловский «выкрутас».

Впрочем, мне не было смешно и когда покинув эту злополучную, «колдовскую» улицу и распрощавшись с Белым у подъезда его дома, я «сам не свой» вернулся к себе. Да и теперь, более полувека спустя, когда я иногда вспоминаю эту ночь, меня все еще охватывает какая-то внутренняя дрожь.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА В ПАРИЖЕ

Поздней осенью 1925 года Марина Цветаева после долгих раздумий и колебаний перебралась из полюбившейся ей Праги с прельстившим ее «бледнолицым Стражем — рыцарем, стерегущим реку» в Париж, который она, собственно, совершенно не знала. В молодости она почти «мимоходом» побывала у гробницы Наполеона, которого тогда превозносила за то, что он был отцом ее романтического «героя» — Орленка. Но порфир этой гробницы оттолкнул ее и в разочаровавший ее Париж Цветаева ехала с какой-то внутренней дрожью. Так, действительно, и вышло — с этим переездом начался несказанно тяжелый, затянувшийся на без малого пятнадцать лет последний период ее жизни.

Из песни слова не выкинешь — все мы частично виноваты в том, что она не была здесь окружена той минимальной внимательностью, которую при ее житейской беспомощности заслуживала более других и что материальная необеспеченность цветаевской семьи временами доходила до крайних пределов. А к этому прибавлялось еще удручавшее ее непонимание ее творчества не только широкой читательской массой, но сплошь да рядом и так называемой «культурной элитой». А наряду с этим ее горечь и чувство некого сиротства углублялись семейными неполадками — то с постоянно болеющим мужем, с которым по существу у нее почти не было больше общих интересов, как уже не было общего языка с подрастающей дочерью, которая «самоопределялась» и для которой она перестала быть «первым поэтом».

Цветаева с горечью писала в те дни, что «есть знакомые, которым со мной «интересно» и домашние, которым интересно со всеми, кроме меня, ибо я дома: посуда, метла, котлеты». С

одной стороны, в ее характере была самоотдача, но с другой, ее требования к друзьям и знакомым были всегда завышенными, не всегда выполнимыми, редко когда предугадываемыми и, вероятно, оттого все ее дружбы были с оговорками, со всякими «но», с разочарованиями, взаимными или односторонними.

Ее одиночеству способствовала еще «география». Цветаева жила все парижские годы за городом и это затрудняло общение с ней. В ночные часы (а других она не «признавала») добираться от нее домой было трудновато, а не заговориться с ней и не пропустить все нормальные средства сообщения было еще труднее! Гостя она завораживала. Вместе с тем, для нее самой путешествие в город было чуть ли не событием: она плохо ориентировалась, боялась уличного движения, толпы, вокзалов, вывесок. Да и отлучаться из дому ей было не легко: ей приходилось стряпать, шить, убирать квартиру, сын был еще малюткой и оставлять его одного нельзя было.

Но все же, что ни говорить, некоторая доля вины за создавшееся положение лежала и на самой Цветаевой. Она не хотела ладить не только со своими читателями, но — что для нее горше — не ладила и с редакторами-работодателями, упрямо предлагая им материалы не по их «мерке»», не по уровню их изданий. Она противилась каким-либо компромиссам и все, что делала, делала с каким-то вызовом. Кому? В первую очередь самой себе, своей собственной судьбе.

Так, в полу-евразийских альманахах «Версты», принятых далеко не ласково, она выступила с пристрастной статьей с издевками над неугодившими ей зарубежными критиками. Это вызвало отталкивание от нее самых разнородных по духовному строю литераторов, пользовавшихся большим престижем в зарубежной русской культурной среде. Хуже того — после нелепого убийства русским эмигрантом французского президента и после того, как он был присужден к гильотине, Цветаева во всеуслышание твердила, что эта казнь по суду равносильна выстрелу в затылок в подвалах ГПУ. Отношение Цветаевой к смертной казни без труда объяснимо, но приводимая ею параллель не могла не вызывать раздражения даже среди ее близких.

В том же стиле ненужного малоубедительного вызова было ее громогласное восклицание после вечера, устроенного Маяковским в каком-то парижском кафе, что «правда там». Возможно, что мысль ее была истолкована превратно, но это заявление закрыло ей двери некоторых органов печати, с которы-

ми она была до того связана и сотрудничество в которых было для нее существенно.

После ряда таких не вполне уместных высказываний, вызывавших цепную реакцию, Цветаева стала считать, что вокруг нее образовался «заговор молчания», хотя сухой, библиографический перечень газет, журналов и прочих «дурных мест», как она именовала периодическую печать, в которой она принимала участие, занял бы немало места. Что до ее «бесправия» по поводу которого она любила скулить, то ее юридическое положение естественно ничем не отличалось от положения тысяч других эмигрантов, осевших во Франции.

Моя первая парижская встреча с Цветаевой — после предшествовавшей ей длительной переписки — произошла на квартире ее друзей, у которых по приезде в Париж она на короткий срок поселилась. Встреча эта произошла при многочисленных свидетелях и была окружена оттенком показной «светскости» и с бисквитами к чаю. Что-то в окружающей обстановке звучало, как фальшивая нота. Сама Цветаева это сознавала и спустя несколько лет писала мне: «Я перед вами виновата, знаю. Знаете в чем? В неуместной веселости нашей встречи. Хотите другую — первую — всерьез?».

Но что-то за эти годы ушло, что-то выветрилось. Если быть суеверным, то надо признать, что Рок (одно из излюбленных цветаевских словечек, которое она всегда писала с заглавной буквы) был явно против нас и какие-то «бесенята» вмешивались в наши дружеские отношения, которые так и не удалось наладить. Хотя почта действовала в те дни безукоризненно, цветаевские письма ко мне, как и мои к ней, пропадали или достигали меня с таким запозданием, что я никак не мог свидеться с ней в назначенный час. Пропал даже пакет с ее книгами, который я ей выслал по ее просьбе. Что-то ей было нужно, а у нее иссякали авторские экземпляры.

И так случилось, что за все ее парижские годы я побывал у нее считанное число раз — но я не хочу взваливать за это вину на почту! Вероятно, это происходило потому, что разговор с ней у меня никогда не клеился, мне казалось, что приходится подниматься на крутую гору. Хоть и был он утонченно литературен, но, вместе с тем, в каждой брошенной ею фразе, в любом ее полуслове мне чудился какой-то второй смысл, намек на что-то, что перегорело или, строго говоря, что было измышлено.

«Я у вас сейчас: я — переписка и я — встреча, в глазах дво-

юсь, хочу восстановить единство», писала она, но очевидно для этого сроки были упущены.

Хотя у меня самого эта полоса жизни была очень тяжелой или, может быть, более нелепой, чем тяжелой, я нередко с сокрушением и болью думал о Цветаевой. Я мысленно восстанавливал ту обстановку, в которой текла ее жизнь и иногда перед моими глазами маячили какие-то полусломаннные табуретки, дымящая, угарная печурка, чашки разных цветов и фасонов, но как будто все с отломанными ручками и виделся густой папиросный дым, обволакивающий все помещение. Один письменный стол выделялся, он мне казался особенным, хотя, вероятно, был тоже убогим, но я знал, что на нем в ночные часы Цветаева своим бисерным почерком исписывает лист за листом, занося на бумагу неиссякаемый поток рвущихся из нее строк и звучаний.

В 1928 году ей удалось выпустить последний прижизненный сборник стихов, который был назван «После России», хотя, вероятно, было бы более дальнозорко назвать его «До России», потому что он включал все то, что уже потом не могло быть высказано, что никак не вязалось с ее краткой жизнью в Москве.

Этому сборнику надлежало бы стать событием в российской литературной жизни. А кто его заметил по-настоящему? Времена были такие, что никакая русская книга не могла стать «событием», экземпляры цветаевского сборника, отпечатанные на особой бумаге, приходилось навязывать «меценатам», ставшими более редкими, чем ископаемые, и которым до поэзии было мало дела.

Книга эта у меня уцелела и стоит на книжной полке. Она мне тем более дорога, что Цветаева включила в нее, не указывая адресата, ряд стихотворений, которые когда-то, в дни «туманной юности», когда еще мало думалось о жизненной прозе, она мне заочно посвятила (добавлю при этом, что с ней не раз бывало, что свои стихи она затем перепосвящала другим, но можно ли было за это на нее обижаться?). Экземпляр «После России», вероятно, ее последний осязаемый привет, она прислала мне с лаконическим «на память», без каких-либо дальнейших уточнений и это единственная сохранившаяся у меня ее книга с автографом.

В последний раз я встретил Марину Ивановну случайно за год или за два до ее отъезда в одном из тех бюрократических

учреждений, которые ведали делами эмигрантов. По близорукости она не сразу меня узнала и мы только обменялись почти безмолвным рукопожатием. Оба спешили и едва ли кто-либо из нас был способен предвидеть, что эта встреча — последняя.

Уезжала она полуконспиративно, мало кого о своем решении предупредила, прощаться, конечно, ни к кому не ездила, ей было не до того... Только одному из своих корреспондентов написала: «Все меня выталкивает в Россию, в которую я ехать не могу. Здесь я ненужна. Там я невозможна...».

Другими словами, она отдавала себе ясный отчет в том, что впереди ее ждет некий крестный путь, хоть всего его трагизма она, конечно, предвидеть не могла. Но зато Ахматова, встретившая ее в Москве вскоре после ее возвращения обратилась к ней:

«... Мы сегодня с тобою, Марина,
По столице полночной идем,
А за нами таких миллионы
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны
Да московские дикие стоны
Вьюги, нам заметающей след».

ВСТРЕЧИ С ПАСТЕРНАКОМ

Судя по дате на экземпляре «Тем и вариаций», который у меня еще каким-то образом сохранился, то, о чем я хочу рассказать, происходило в первые месяцы 1923 года. Оба мы жили тогда в Берлине, и я довольно часто встречался с Пастернаком на всевозможных литературных сборищах, происходивших по меньшей мере раз в неделю. Появлялся он на них регулярно, хотя выступал очень редко, но тем не менее его присутствие всегда как-то ощущалось — не знаю, как это объяснить. Даже сидя на своем кресле и только перекидываясь какими-то замечаниями со своими соседями, он вносил в собрание особую серьезность. Для меня же эти встречи с ним большею частью ограничивались обменом малозначащих слов да еще не в меру ласковых восклицаний.

Между тем для Пастернака это была довольно ответственная пора, может быть, в известном смыле даже решающая. Незадолго перед тем в России вышла его первая вполне зрелая книга стихов «Сестра моя жизнь», переизданная тогда же и в Берлине, а после небольшого промежутка появился в необычной, ярко-фиолетовой обложке и другой сборник — «Темы и вариации», наделавший немало шуму в литературных кругах.

Так случилось, что по «долгу службы» — вспоминаю теперь об этом с некоторым хвастливым чувством — на мою долю выпало написать для газеты, в которой я в те дни работал, на коротком расстоянии одна от другой, две рецензии на пастернаковские сборники. Новой же его книге, «Темам и вариациям», я посвятил более пространную статейку, озаглавив ее «Искания». Отмечу, что откопав ее недавно в моем архиве и перечитав, несмотря на ее мальчишеский задор и наивность, я не слишком краснел.

Но как бы там ни было, вскоре после появления этой рецензии на очередном собрании писательского клуба Пастернак отвел меня в сторону и с некоторым свойственным ему косноязычием вполголоса произнес несколько слов, которые меня тогда буквально «пронзили»:

— Я вам искренно признателен за вашу заметку, никто еще т а к о моей книге не писал. Вот, мы все время встречаемся на людях и не удается по-настоящему побеседовать. Приходите как-нибудь ко мне и мы тогда все выясним и дружески поболтаем. Имейте только в виду, я завтра на недельку уезжаю в «мой» Марбург.

Я, конечно, обомлел, толком не соображая, что, собственно, следует «выяснять». Пастернак казался мне олицетворением писательской честности, и я никак не мог предполагать, что, как много лет спустя писала его подруга — Ивинская, «в его манере всегда было очаровательное лицемерие». Впрочем, в данном маленьком случае дело было не в этой пастернаковской слабости: слова его были абсолютной правдой, потому что книга, о которой я писал, еще пахла, как говорится, типографской краской и вручил он мне ее в день выхода. Таким образом рецензия, которую я, волнуясь, чуть ли не сразу настрочил, была первой по времени. До меня никто о «Темах и вариациях» еще не писал.

Вскоре я воспользовался его приглашением и посетил его жилище на Фазаньей улице, на которой расположился целый ряд «семейных пансионов», полюбившихся большинству русских беженцев, осевших в германской столице.

Вспоминая мои посещения «Фазаньего угла», как именовался пансион, я теперь думаю, что едва ли за всю мою жизнь встречал более «деликатного» и вместе с тем менее «дипломатичного» собеседника, нежели Пастернак. Когда он со своим собеседником не соглашался, он начинал как-то юлить, свое несогласие всегда старался «позолотить» какими-то «но». Помню, что я нападал на него за то, что, как мне казалось, его стихи отягощены чрезмерным количеством иностранных слов и прозаизмов, которые мне тогда были в диковинку. Он не спорил и только уверял, что сам это сознает, но так, мол, уж написалось и он не в силах ничего менять. Его возражения приблизительно совпадали с тем, что по сходному поводу писал Блок одному из своих редакторов, ссылаясь на чувства молодой матери, когда ей говорят, что у ее ребенка какие-то недостатки — «ладно, я это знаю, а все-таки он и так хорош и, при том, хорош именно так...».

В рецензии о его сборнике я писал — «вероятно, Пастернак слишком рано взглянул в будущее, чтобы быть оцененным по заслугам. Ленивые современники равнодушно пройдут мимо, не ощутив в достаточной мере поэзию этого лермонтовского правнука, не полюбопытствовав разглядеть, что таится в его особенном, пастернаковском косноязычии... Ему с трудом дается каждое слово его своеобразной, испещренной варваризмами лексики» и дальше: «Ему приходится гранить тяжеловесные глыбы не тонким резцом, а тяжелым молотом... Тонкий резец в его руках был бы, вероятно, непригоден».

Во многом я, конечно, ошибался, но, может быть, тогда ошибался и сам Пастернак, который мне поддакивал. Мог ли я предвидеть да и чувствовал ли он тогда сам, что в будущем у него все отчетливее будет крепнуть стремление к ясности, соединенной с какими-то религиозными ощущениями.

Хочу при этом отметить, что эти несколько бесед отнюдь не были «пререканиями», как могло бы показаться, а скорее вылились в комментарии поэта к моим порой по-мальчишески запальчивым словам. Впрочем, беседа с Пастернаком была нелегкой. Он перескакивал с одной темы на другую и из-за водопада его неожиданных ассоциаций иногда трудно было вникнуть в его основную мысль. Его речь (может быть, к концу жизни изменилась и его манера, как во многом изменился его поэтический темперамент) из-за самой ее сложности и расплывчатости не всегда была убедительна, а его вдруг пробуждающееся многословие было часто сбивчиво и даже хаотично. Перед собеседником возникал фейерверк мыслей, пестрых, ярких, многоцветных, но многие из них, словно бенгальские огни, потухали, не дойдя до сознания его собеседника.

Пастернак взял за правило и как бы подчеркивал, что художник обязан найти в себе мужество сопротивляться нареканиям своих поклонников, бунтовать против их желания заставить его повторять полюбившееся им или заставить его не отходить от проложенной им самим в данный момент — и именно в данный момент — дороги. «Я сам свой высший суд», словно утверждал он.

При всем том была тогда в Пастернаке какая-то, казалось, непреходящая детскость, может быть, даже наивность и непомерная свежесть восприятий, точно каждый день мир открывался ему впервые. Он верил людям, хотел верить в то, что «все

образуется», хоть и жил в эпоху небывалых подземных и надземных толчков и на все эти явления отнюдь не закрывал глаза.

При посещениях «Фазанен-Экка» меня поразила некоторая перемена в настроениях Пастернака. В течение долгого времени он искренно и глубоко любил ту воображаемую Германию, которую раз навсегда полюбила и Цветаева, «где все еще по Кенигсбергу / проходит узколицый Кант», ту, о которой он переписывался с одним из любимейших своих современников, с Рильке. Он еще способен был ее идеализировать и не замечал того, что происходило в ее подпочве. Особенно ему был дорог Марбург, где на роковом пути из Лондона на родину читал лекции Джиордано Бруно и по мостовым которого в течение пяти лет «шаркал» Ломоносов. Этот университетский городок был ему дорог не только по студенческим, но и по сентиментальным воспоминаниям. И вот — кратковременная поездка «в прошлое» произвела на него нестираемое впечатление, в Марбурге он увидел, чего не хотел замечать в Берлине. Вся страна стала ему видеться в новом ракурсе. Взволнованным голосом он стал говорить то, что за тем вписал в «Охранную грамоту» — «Ландшафт, когда-то слишком думавший о Тридцатилетней войне, кончил тем, что сам себе ее напророчил».

Вскоре после этих нескольких чаепитий мы разъехались и мне только еще один раз в жизни удалось столкнуться с Пастернаком в наиболее неподходящей для разговора обстановке. Он приезжал в Париж на какой-то писательский чуть ли не «антифашистский» съезд, чем-то глубоко расстроенный, изнервничавшийся, издерганный. Кроме того, встреча случайно произошла на квартире одной из тех, в кого в молодости он был влюблен и кого не видел затем «полжизни», а то и больше. Я пришел в момент, когда Пастернак уходил. Могла ли тут найтись какая-либо общая тема, да и то, что меня с ним когда-то как-то связывало, уже бесповоротно испарилось. Мы были уже жителями разных планет.

Четверть века спустя, после истории с «Живаго», у меня было поползновение написать ему и поздравить с нобелевской премией. Слава Богу, я этого не сделал, потому что Ивинская рассказывает, что он тогда получил чуть ли не 20 тысяч поздравительных писем. Что могло дать 20 тысяч первое? Что можно было придумать, чтобы выйти из проторенной дорожки «нобелевских» поздравлений?

Но как-никак мне и сейчас приятно перечитать хотя бы такие, очень давние строки, как:

«Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут — а слова
Являются о третьем годе.

. . . .

Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря.
Так будут начинаться ямбы.

. . . .

Так начинают жить стихом».

И, главное, перечитать их на экземпляре, снабженном надписью автора.

НЕМИЛОСТЬ СТРОГОГО ГОСПОДИНА

Стараясь что-то достать с книжной полки, туго набитой поэтическими сборничками, я нечаянно уронил какую-то тоненькую книжицу, о существовании которой давно забыл. Довольно громоздкими буквами, мало соответствующими формату сборничка, на обложке красовалось «Барабан строгого Господина». Я раскрыл книгу и прочел авторскую надпись, датированную 1923 годом: «Милому Бахрачку в память о берлинской встрече». Дальше за титульным листом, была страница с эпиграфом — «Мы танцуем под барабан Строгого Господина». Фраза эта принадлежала автору «Небесных верблюжат», Елене Гуро, которую прозывали «первым из русских новаторов» и которая перед революцией входила в группу футуристов вместе с Маяковским, Бурлюками, Крученых.

Книжица, которую я уронил, была сборником стихов полузабытой петербургской поэтессы, Марии Михайловны Шкапской, с благословения Горького начинавшей свою в общем недолгую поэтическую карьеру в начале двадцатых годов и успевшую на протяжении тех нескольких уже далеких лет выпустить целый ряд ценных поэтических сборничков — «Кровь-руда», «Неопалимая купина», «Час вечерний», всех заглавий мне не вспомнить.

Выделялись стихи Шкапской тем, что ею не только всегда владела ее тема, но у нее был и свой «почерк», хотя, конечно, кое-что ахматовское, как почти во всей «женской» лирике того периода, проскальзывало и у нее. Одновременно, как подчеркивает эпиграф к книге, лирический импрессионизм Елены Гуро оказал на Шкапскую больше влияния, чем ее же чуть наносной футуризм. Недаром Гуро находилась как бы на стыке обоих

течений и если бы не ее ранняя смерть, трудно угадать, куда бы ее «потянуло».

Лейтмотивом творчества Шкапской был не любовный угар, не любовные переживания, не эротика, а, как это ни странно для поэзии, материнство и даже подчас — физиология. В то же время неизменным фоном ее стихов была Россия, рождающаяся в муках, но в большинстве случаев она этот фон суживала и лирически рисовала Петербург, набережные Невы, Петропавловскую крепость.

«Петербуржанке и северянке люб мне ветер с гривой седой, тот, что узкое горло Фонтанки заливает невской водой / Знаю — будут любить мои дети Невский седобородый вал, отто-то, что был западный ветер, когда ты меня целовал...».

Я цитирую эти строки, потому что для творчества Шкапской они крайне характерны — тут и Нева, и любовь, и дети.

Свел я с ней знакомство в давние годы в Берлине, когда она была уже (впрочем, не уверен, какое из двух наречий уместнее — «уже» или «еще») довольно известной поэтессой, за которой гонялись издатели, несмотря на то, что в ее стихах никогда не было крикливого или «сенсационного», ничего коммерчески многообещающего. Да и от самого ее внешнего вида веяло чем-то крайне далеким от современности. Она и внешне казалась неким анахронизмом, в ее облике было что-то от запоздалой народоволицы, от Софьи Перовской, в лучшем случае, от немного лубочного изображения революционерки начала века, от «вечной курсистки» предреволюционных лет. Довольно высокая, в юбке до полу, с закрывающими уши буклями калачиком, без тени малейшего внешнего кокетства, казалось, что ей неведомо понятие «косметика». Если судить по ее лирике, несмотря на присутствие темперамента, она была совершенно чужда «вечной женственности», но зато никогда не забывала о материнстве и почти с каким-то вызовом не переставала о нем говорить.

Прибыла она в Берлин в сопровождении какого-то ответственного работника неведомого мне учреждения, посланного в казенную командировку, да еще в придачу с каким-то брюнетистым юношей, которого все кругом почему-то считали «оком Москвы». Так ли это, конечно, не знаю, но помню, что этот юноша — едва ли не мой ровесник, подарил мне какой-то «дивный» пунцовый свитер, который мне неловко было носить из-за яркости цвета.

Вскоре после знакомства — где и как оно состоялось не помню, это тогда происходило как-то само собой и о политических преградах никто тогда вокруг меня не думал — Шкапская предложила мне сопровождать ее при «паломничестве» в Сааров, городок близ Берлина, в котором проживал Горький. Этот визит почитался чем-то обязательным для всех литераторов, наезжавших из Советского Союза, а путешествие это было сравнительно довольно нудным и почему-то сложным: надо было где-то пересаживаться, ждать поезда — словом, все было не так просто, а языком Шиллера Шкапская не владела, ни-ни...

Я согласился сопровождать ее и вознагражден был тем, что чуть ли не полдня должен был выслушивать рассказы и наставления Горького, которому, Шкапская, как полагалось по церемониалу, читала и читала свои стихи, а Горький — по не менее строго соблюдаемому ритуалу — не раз проливал слезу. Было, конечно, что-то искренно трогательное, вполне неожиданное и даже не в меру смелое, в строках Шкапской, посвященных узнику Тампля, маленькому дофину Людовику XVII. Мне хотелось бы привести отрывок из этих стихов:

«Народной ярости не внове
Смиряться страшною игрой.
Тебе Семнадцатый Людовик
Стал братом Алексей Второй —
И он принес свой выкуп древний
За горевых пожаров чад,
За то, что мерли по деревне
Милльоны каждый год ребят —
За их отцов разгул кабацкий
И за покрытый кровью шлях,
За хруст костей в могилах братских
В манджурских и иных полях...»

и под конец:

«...Но помню горестно и ясно —
Я — мать и наш закон — простой.
Мы к этой крови непричастны,
Как непричастны были к той».

Дело было, конечно, не в нескрываемом политическом

звучании этих строк, которому, даже проливая слезу, Горький мог едва ли до конца сочувствовать да едва ли у самой Шкапской были определенные политические симпатии. Как я говорил, она во всем руководствовалась чувством врожденного материнства и над этим чувством Горький, у которого глаза, как известно, были «на мокром месте», всплакнул особенно обильно и, вероятно, даже искренно, не думая даже о возможности какого-то второго плана.

Только поздним вечером отправились мы в обратный путь и когда прибыли, наконец, в Берлин вдребезги усталые от водопада стихов, от «умных» разговоров, от пересадок, то — о, ужас — обнаружилось, что Шкапская забыла взять ключ от своего подъезда. А без него войти ночью в Берлине в свой дом было трудновато. Отчаяние мое было тем более реально, что — что греха таить! — Шкапская была из тех женщин, с которыми я мог вести только литературные разговоры. Что было делать? Я довел ее до ее дома и мы стали караулить, авось какой-нибудь «гуляка праздный», обитающий в доме, вернется в этот неурочный час и отопрет заветные двери. Наше терпение, действительно, было вознаграждено и через какой-то промежуток времени, казавшийся нескончаемым, один из обитателей дома появился и я был спасен.

Это было больше, чем полвека тому назад и теперь не скрою, что я быстро обнаружил, что этот инцидент с ключем как то Шкапскую задел. Тогда по молодости лет мне это было невдомек, теперь мне это кажется почти естественным.

Но шутки прочь... Перечитывая теперь стихи Шкапской, я, помимо всего, не могу не поражаться, что многое, что заключено в ее лирику, хоть и тогда уже было вполне «несозвучно» тому, что ее окружало, но тем не менее никакой Дамоклов меч не повисал над ней. О, «блаженные времена»!

Последняя книга стихотворений Шкапской вышла, кажется, в 1925 году. Между тем, с трудом верится, что ее поэтическое вдохновение могло неожиданно покинуть ее и что с годами она исчерпала свою тематику. Как бы там ни было, перестав быть поэтессой, Шкапская стала очеркисткой и уже в 33-м году Федин, ставший «вельможей», писал Горькому: «Шкапская бросив все, целиком ушла в «Историю заводов» (это было одно из бесконечных, многотомных, наводящих зевоту, недоведенных до конца горьковских начинаний) и Федин продолжал: «Поду-

мать только что она начинала с эротико-мистических и физиологических стихов!».

А ведь сама экс-поэтесса годом позже признавалась: «Два года я живу этой работой, она стала частью моего быта, моего сердца... Я уже давно перестала писать стихи, но работа над историей заводов все время возвращает меня, как это ни странно, в область поэзии...». Есть меткая народная поговорка, гласящая «укатали Сивку крутые горки». Почему-то она пришла на ум, когда я читал письмо Шкапской, бедной Шкапской.

Дожила она до 1952 года и я теперь с долей сентиментальности вспоминаю мои встречи с ней. Я охотно готов понять, что она с увлечением могла отдаться работе над историей какого-то крупного завода — в ее случае это был ленинградский завод бывший Лесснера — но все же больно было читать, что сухие очерки, начиненные статистическими выкладками и описанием проводимых с «энтузиазмом» воскресников, могли заменить для нее поэзию, могли возвратить ее, как она выразилась, в «поэтическую стихию», могли быть «частью ее сердца».

Бедная, милая Мария Михайловна... Очень неласково обошелся с вами тот «Строгий Господин», о котором вещала Елена Гуро, и чувствовали ли вы, напоминая о нем в эпиграфе к одной из ваших книг, к чему сведется «танец» под такой безрадостный «барабан»?

КЛАМАРСКИЙ МУДРЕЦ

С Николаем Александровичем Бердяевым я познакомился в Берлине осенью 1922 года буквально через несколько дней после того, как в штеттинском порту пришвартовался «исторический» теплоход, на борту которого находились необычные пассажиры — многоголовая группа виднейших представителей русской интеллигенции, высланная из Советского Союза по единственному в своем роде распоряжению Ленина.

В последовавший недолгий берлинский период нашей общей жизни довелось встречаться с Бердяевым сравнительно часто, но потом в Париже видал я его совсем редко, сам толком не знаю, по каким причинам меня не тянуло посещать его «воскресения», когда по раз навсегда заведенному порядку в его кламарском домике, преподнесенном ему одной из английских читательниц и почитательниц, собирались запросто и без приглашений. Там в этот день за чашкой вкусного чая, приготовлять который несравненной мастерицей была бердяевская свояченица, обсуждались вопросы злободневные и метафизические, литература перемешивалась с политикой, французы с русскими.

Но так случилось — тому теперь ровно тридцать лет (Боже, как неумолимо быстро летит время) — что в одно из майских воскресений 1948 года меня затащил в Кламар Адамович, которому не улыбалось отправляться за город одному.

Ничто не предвещало, что это было последнее из бердяевских «воскресений», что после этого приема он проживет еще только три или четыре дня. Он был тогда по-прежнему оживлен, как всегда барственен и учтив, даже кокетлив, не выпускал изо рта душистой сигары. Все еще могло казаться, что он словно

сошел с полотна Тициана. Только в его ассирийской бороде появилось больше серебряных волос.

На этом «прощальном» журфиксе по-видимому никакие важные вопросы не были затронуты и никаких бурных споров не возникало, иначе я, вероятно, их бы запомнил.

Однако, совсем незадолго перед тем мне посчастливилось быть у Бердяева без посторонних, провести с ним час-другой с глазу на глаз. Я поехал его интервьюировать после его возвращения из английской поездки, когда кэмбриджский университет присвоил ему звание «почетного доктора» — «доктора honoris causa». А это избрание тем более польстило ему, что до него за всю семисотлетнюю историю Кэмбриджа только несколько русских удостоились этой высокой чести, в частности, Тургенев, Чайковский и Милюков, получивший почетный диплом за труды по истории России и русской культуры.

Мне непременно хотелось услышать от Бердяева по свежим следам рассказ о церемонии, происходившей по незыблемым правилам средневекового ритуала в этом тихом и уютном университетском городке. Красочность и торжественность этикета как бы еще раз подчеркивали то значение, которое Англия придает академической награде.

В назначенный день и час Бердяев, облеченный в какой-то шлафрок «мышиного цвета», который придавал ему особую уютность и домашность, поджидал меня и сразу же повел наверх в свой кабинет. Я не успел задать ему ни единого вопроса, как он вытащил пачку фотографий: «Они вам все объяснят лучше меня», сказал он. На снимках видно было торжественное шествие, которое возглавлял канцлер университета, престарелый Болдвин, многократный британский премьер-министр, разодетый в какую-то расшитую золотом «сказочную» мантию. За ним следовали награждаемые — сперва сам Бердяев, за ним видный английский политический деятель социалист Беван, затем поседелый вице-король Индии, фельдмаршал Уэвель, все облаченные в ярко-красные тоги с архаическими головными уборами на голове. Затем подвигались почетные гости и профессора, а по пути следования виднелась густая толпа, по словам Бердяева, громко приветствовавшая лауреатов.

Бердяев затем пояснил, что акт вручения дипломов происходил в огромном амфитеатре готического «Нью-Колледжа»,

при чем Болдвин произнес небольшую латинскую речь, отмечая научные заслуги новых кэмбриджских докторов.

В частности, он назвал Бердяева «новым Сократом» и вручил пергаментный свиток ему первому, так как он был единственным, получавшим диплом по пользующемуся приоритетом разряду «дивинити» (богословию). По кэмбриджским освященным веками правилам докторов философии не существует, а Бэван и Уэвель получали свои степени в качестве «докторов прав».

Рассказывая о подробностях церемонии, Бердяев вдруг нахмурился и с оттенком раздражения сказал: «Вот видите что за ересь получилась, старик Болдвин ни за что, ни про что сравнил меня с Сократом, но ведь Сократ...» — он сделал жест левой рукой. — «А ведь я...» — и жест в противоположную сторону. — Каюсь, что в этот момент мне трудно было скрыть улыбку.

Было бы, конечно, зазорно упрекать Бердяева в тщеславии, но, вместе с тем, по моим впечатлениям, его поездка в Кэмбридж и все, что с ней было связано, оказалось одной из последних больших радостей его жизни, событием, значение которого он не считал нужным преуменьшать.

До этого посещения бердяевского дома мне не случалось подыматься на второй этаж, в его кабинет. Это была большая и очень светлая комната с венецианским окном, сквозь которое виднелся полузапущенный садик. Две стены были заставлены книгами, а на другой, над письменным столом, заваленным рукописями, была приколота репродукция какого-то рисунка Пикассо.

Мое библиофильское сердце не удержалось от искушения поближе рассмотреть бердяевское книжное собрание. Стройными рядами стояли русские классики, рядом с Пушкиным не в меру потрепанные томики Достоевского, более свежие Толстого, Тютчев, вызывавшие мою зависть редкостные собрания сочинений Константина Леонтьева и Хомякова; отдельные тома Розанова соседствовали с Блоком и Андреем Белым и рядом книг в изданиях «Пути», «Скорпиона», «Мусагета». С другой стороны стройными рядами расположились философы — Кант, Гегель, Шопенгауэр, Ясперс, немецкий мистик XVI века Яков Беме, которого Бердяев особенно почитал. Все это было, так сказать, в порядке вещей — это было подспорье для работы. Более мне показалось удивительно, что тут же находилось

буквально все, написанное Прустом — не только его художественные произведения, но и его письма и целый ряд монографий о нем, исследований, посвященных его творчеству.

Бердяев, очевидно, угадал мои мысли: «Да, сказал он, я вижу, вы как будто поражены тем, что я так пристально изучал Пруста. В этом ведь нет ничего удивительного. Пожалуй, Пруст — единственный из французов, сумевший утонченность соединить с простотой. Он был продукт усложненной культуры, а всякая подлинная культура сложна, тогда как все великое просто. В нем было два лика и один из них — его простота дает мне все основания считать его самым крупным писателем Франции XX века. Я даже не побоюсь приложить к нему эпитет «гениальный».

— Николай Александрович, то что вы мне сказали, не так уже меня поражает, но разрешите вас спросить, — продолжал я, — потому что это не вполне вяжется со всем вашим обликом, почему вы у вашего письменного стола повесили Пикассо да еще позднего Пикассо?

Ответ Бердяева мне показался настолько любопытным, что я тогда же записал его вкратце в свою записную книжку:

— Ах, это совсем из другой «оперы»... Когда, еще будучи в Москве, в предреволюционные годы, я познакомился с творчеством Пикассо, я не мог не приветствовать его. От его полотен, от его рисунков веяло космическим ветром. Они были символом разрушения материи, плоти, в нем были подлинные творческие дерзания и это было мне тогда близко по духу. То, что вы теперь видите у меня, висит случайно, кто-то эту репродукцию принес, чтобы позабавить меня, думая, что я буду возмущен эволюцией Пикассо, потому что большинство моих русских друзей считает, что мне надлежит преклоняться перед Репиным или Левитаном и презирать новые течения, футуристов, кубистов, сюрреалистов. Это, конечно, вздор. Я глубоко уважаю Пикассо, так как он символизирует поздние цветы исчерпывающей себя культуры, самые изысканные и наиболее сложные ее цветы. Может быть, сам о том не догадываясь, Пикассо стремится изобразить трагическую неудовлетворенность той культурой, которая его создала и воспитала. Я вижу в Пикассо порыв против грядущего царства мещанства, к которому ведет и капитализм и социализм. В нем меня также прельщает, что человек латинской культуры, по рождению испанец,

ощущает в себе нечто «скифское», а ведь это близкий мне русский соблазн...

Мой вопрос о Пикассо оказался для Бердяева поводом поговорить на одну из его излюбленных тем, и теперь я могу только пожалеть, что не научился стенографии. Между тем становилось поздно и надо было отправляться в обратное «путешествие». Бердяев проводил меня до порога и уже протягивая руку, неожиданно сказал:

— Помните только, что на прощание вам сказал старый Бердяев, это вам в жизни пригодится: истина никому и ничему не служит, ей служат. Я об этом много писал, но даже если вы меня читали, то едва ли запомнили.

О чет он думал, произнося эти слова то ли как нотацию, то ли как наставление, объяснить не берусь. Относились ли они к тому, что я способен перепутать все им сказанное или, может быть, к моей полуусмешке, вызванной его недовольством при сопоставлении с Сократом, — так и не знаю. У меня не было больше случая эти слова уточнить.

«АНТИФИЛОСОФ»

В серии библиографий русских зарубежных писателей, издаваемой парижским Институтом славяноведения, два выпуска посвящены замечательному человеку — философу и критику, Льву Шестову, чья писательская судьба сложилась настолько причудливо, что он, вероятно, более известен и популярен у западных читателей, нежели среди своих соотечественников.

Произошло это, может быть, не только в силу субъективных причин или из-за его неприятия коммунистической революции и отъезда из России (он и до революции долго кочевал по заграницам), а скорее оттого, что его антифилософская (в строго классическом — буквальном — восприятии этого термина) философия была более сродни западному мышлению, более для него приемлема, чем русскому мироощущению, для которого Шестов всегда оставался в каком-то смысле «еретиком». Ведь не зря же одна из первых его книг была названа им «Апофеоз беспочвенности» и имела подзаголовок «Опыт адогматического мышления». А ведь русская философская мысль, к какому лагерю она бы ни принадлежала, адогматизма чуралась.

Две указанные библиографии (одна из них посвящена трудам Шестова, другая всему о нем написанному) вышли как нельзя более кстати, потому что сейчас надлежит помянуть о нем особо в связи с исполняющимся сорокалетием со дня его смерти.

За этот долгий период мы точно переселились в другой мир, которого Шестов не мог знать и приход которого не мог

предвидеть. Между тем, сейчас его труды как ранние, так и написанные им в предзакатные его годы, не только не устарели, но отчасти приобретают «вторую молодость». Может быть, только теперь — после всего, что нас отделяет от даты его смерти — можно ощутить, насколько его мысль вневременна, насколько и сейчас она может отвечать нашим духовным запросам, а одновременно с этим, если только с ней не соглашаться, с каким одушевлением и волнением можно ее оспаривать, потому что равнодушной она едва ли кого-нибудь может оставить.

Путь Шестова лучше всего проясняют его собственные строки. «Может иным показаться странным, писал он, что моим первым учителем философии был Шекспир. От него я услышал столь загадочное и непостижимое, а вместе с тем столь грозное и тревожное: время вышло из своей колеи. Что можно делать, что можно предпринять перед лицом вышедшего из колеи времени, перед лицом тех ужасов бытия, которые открываются человеку. От Шекспира я бросился к Канту, который своей «Критикой практического разума» и своими знаменитыми постулатами пытался замазать на столетия щели бытия, обнаруженные его собственной «Критикой чистого разума». Но Кант не мог дать ответа на мои вопросы. Мои взоры тогда обратились в иную сторону — к Писанию. Но разве Писание может выдержать очную ставку с самоочевидными истинами?». Эти несколько строчек раскрывают всего Шестова-философа, в них в какой-то мере отразился весь трепет его постоянных блужданий.

Искатель истины, непременно своей и никогда не «готовой», Шестов отвергал закостеневшую академическую философию и предпочитал ей менее проторенный и более «веселый» путь. Он не мог примириться с тем, что, наряду с другими отраслями науки, философия стала некой дисциплиной со своим особливым, непонятным для простых смертных языком. Он ничему не верил без основания и ему не импонировала необходимость надевать на себя доспехи философа и считать себя обязанным подчиняться водительству чистого разума и повиноваться «голой» логике. Именно против разума он восставал, именно с логикой он боролся при помощи строго логических доводов. Научному знанию он противопоставлял истину, считая, однако, что одна из первых задач науки — отделаться от тайн и загадок.

Собственно, он был человеком одной мысли, утвердившейся в нем, засевшей в нем и с которой он никогда не мог расстать-

ся. От одной своей книги к следующей, от изучения одного близкого ему мыслителя к другому, он находил, казалось бы, для своей основной идеи новые одеяния, с новой стороны освещал ее, но по существу ее ядро, шестовский лейтмотив оставались неизменными. Вместе с растущей тревогой за будущее Шестов вел бой с разумом и идеализмом.

О ком бы он ни писал, его собственные мысли всегда брали верх. В комментариях к полюбившемуся ему Плотину, в мыслях о Паскале, в афоризмах о Киркегарде (употребляю шестовскую транскрипцию датского имени) всегда чувствовался в первую очередь он сам, и его экзистенциализм не был ни киркегардовским, ни гейдегеровским, ни чьим-либо иным, а всегда оставался шестовским.

Недаром в одной из своих книг, если не ошибаюсь, в «На весах Иова», он написал знаменательные слова — «нам больше всего нужно все, что запрещено разумом и совестью». «Запрещено совестью»... что он подразумевал, если тут же говорил, что «мы должны искать то, что поверх Добра — мы должны искать Бога»? Но шестовский Бог был Богом изменчивым, страстным и непостоянным, как все живое, и в душе Шестова эллин не переставал бороться с иудеем.

Рыцарь свободы — Шестов отталкивался от всех Церквей, ни в одной не чувствуя себя окончательно «дома», переходя от покорности к дерзновению.

«Когда Диоген сказал Платону: льва я вижу, но не вижу львиности», Платон ему ответил: «чтобы увидеть льва, нужен, действительно, особый орган, но чтобы увидеть идею льва, львиность прежде, чем узреть льва, не нужно никакого особого органа». Это написал Шестов и мне представляется, что сам он чувствовал «львиность» до того, как узревал льва, и в этом была его сила, его особенность. Он не дорожил «низкими истинами», но в то же время отталкивался от «возвышающего обмана». Он всю жизнь искал ответа на безответные вопросы и приходил к заключению, что единственная подлинная истина в том, что разуму решительно нечего здесь на земле делать, потому что никому толком не известно, действительно ли дважды два четыре, а не пять или двадцать пять.

Все предметы и идеи этого мира в его глазах были низкой реальностью, несовместимой с реальностью подлинной, идеальной, неотмирной. Эта мысль, точно преследовавшая его, порождала в нем постоянные и мучительные недоумения и, может

быть, наедине с собой, самому себе он страшился признаться, в какой тупик заходят все его (и наши) помыслы. Естественно, что для обоснования такого рода идей он избрал себе в союзники Шекспира, Ницше, Ибсена, не говоря о Толстом и Достоевском, словом всех, кого его собственная извилистая мысль готова была зачислить в антидогматиков.

Сам Шестов отмечал, что «в литературе существует тот же обычай, что у жителей Огненной земли: молодые, подрастая, убивают и съедают стариков». Шестов ошибался, как, надо надеяться, он ошибался, уверяя, что «время губит и доброе и злое». Идущие ему на смену поколения его не съели. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно просмотреть оба посвященные ему библиографических сборничка, ознакомиться со списками посвященных его творчеству статей, с перечнями переводов его трудов на иностранные языки.

Мы проходим сейчас через краеугольную эпоху, когда многим все «вчерашнее» кажется устаревшим, когда иным представляется, что новая культура может вырасти на пустыре. Каким далеким еще недавно мог казаться тот период русской литературной жизни, который теперь принято называть «серебряным веком» и который постепенно становится все более и более близким и созвучным молодым поколениям. Это тем более относимо к трудам Льва Шестова, что они никогда не «увядали», хотя бы благодаря элегантности и пенистости его стиля, какой-то классичности его прозы, редчайшей в русской словесности афористичности, выделявшей его из среды его коллег-философов и показывавшей, что он, будучи оригинальнейшим мыслителем, был в то же время и мастером сарказма и великим иронистом.

В заключение следует еще раз поблагодарить составительницу библиографий Шестова. Выполняя дочерний долг и много поработав, она напомнила об огромном наследии своего отца. Пусть ее две — хоть и очень специализированные — книжицы послужат толчком к тому, чтобы перечитать, а кому и прочитать, труды Шестова, в которых каждый найдет близкую ему тему — кто о неправде разума или преодолении самоочевидностей, кто об «Афинах и Иерусалиме», кто о Протагоре, об Августине, о Лютере или Паскале, кто о Толстом, Достоевском, Чехове или Розанове.

МУДРЕЦ С НИКОЛЬСКОГО ПЕРЕУЛКА

Еще в гимназические годы я с увлечением прочел книгу Гершензона «Грибоедовская Москва». Благодаря ей я «подружился» не только с самим Фамусовым, но к числу моих знакомых смело мог причислить и пресловутую «княгиню Марью Алексевну» — она была тут рядом, прямо передом мной. Тогда же я постарался достать и другие книги полюбившегося мне автора. Оказалось, что и они были написаны не менее «прозрачно», не менее увлекательно. Было едва возможно оторваться от его монографии о Чаадаеве, о «первом русском эмигранте» Печерине, ставшим затем иезуитом и прославившемся строкою «как сладостно отчизну ненавидеть», о «молодой России» Киреевских, Аксаковых и Самарина. Гершензон словно оживлял минувшее, по слову Гете, «блуждал во внутренней сфере своих героев» и словно угадывая ту материальную действительность, в которой они все жили, никогда ни на чем не настаивал.

В каком-то смысле его книги не были литературоведческими изысканиями, снабженными точными датами, ссылками на источники, громоздким научным аппаратом. Они были, собственно, созданы как книги для чтения, как биографии художественные. Гершензон перенес на русскую почву тот жанр, который с таким блеском зачинали Карлейль, Тэн, Литтон Стрэччи. Гершензона не столько привлекала история, как таковая, сколько внутренние конфликты его героев; не столько их писания, сколько те мысли, те душевные коллизии, те настроения, которые эти писания вдохновляли. И именно благодаря тому, что наряду с аналитиком и исследователем, в Гершензоне уживался и мыслитель, читатель выносил из его книг несравнимо больше, чем из соответствующих академических работ или увесистых критических разборов, насыщенных эрудицией.

Несколькими годами позднее — на заре советской эпохи — появилась гершензоновская «Мудрость Пушкина», а затем, увы, уже посмертно были изданы и его «Статьи о Пушкине» сборник, в который были включены такие небольшие исследование, как, например, «Сны Пушкина» или «Плагиаты Пушкина». В этих книгах Гершензон применял тот метод, который сам он окрестил «медленным чтением» и само заглавие которого в достаточной степени его определяет. «Мудрость Пушкина» при появлении вызвала немало шума, потому что иные гипотезы Гершензона, трактовка им некоторых пушкинских «темных мест» были всегда оригинальны и талантливы, но не всегда убедительны и доказуемы. Это были все-таки «догадки», которые смущали пушкинистов и шли слишком далеко. Не раз уже говорилось, что эта книга не столько мудрость Пушкина, сколько мудрость Гершензона — но как-никак все-таки мудрость...

Кроме того, одно неприятное для Гершензона обстоятельство породило подлинный «скандал» в научном мире. Книга его открывалась статьей, озаглавленной «Скрижаль Пушкина», которая начиналась словами: «Самую поразительную из страниц, написанных Пушкины, постигла и судьба поразительная. Ее никто не знает, ее нет, насколько мне известно, ни в одном собрании его сочинений», а в конце статьи Гершензон писал: «Приведенная страница — ключ к пониманию Пушкина».

Каков же был ужас бедного автора, когда обнаружилось, что он, что называется, «сел в калошу», как перемудрил и с «Утаенной любовью Пушкина», увлекшись своими «психологическими» построениями и приписав Пушкину любовь к женщине, к которой она никак не могла относиться. Что же до «Скрижали», то очень скоро выяснилось, что она была написана Жуковским и Пушкин только для чего-то переписал чужой текст своей рукой. Кстати, этот текст фигурировал в собраниях сочинений Жуковского. Гершензон ринулся с ножницами во все книжные торговли Москвы, получившие свежеотпечатанные экземпляры его книги, и принялся вырезать — благо статья была короткой — первые две страницы книги.

Между прочим, проглядывая недавно воспоминания старого московского книжника, Мартынова, «Полвека в мире книг», я наткнулся на такую фразу: «За всю мою длительную практику работы со старой книгой мне попался только один

раз полный экземпляр «Мудрости Пушкина». Мое библиофильское сердце гордится тем, что на моей полке красуется полный экземпляр книги, принесшей столько огорчений ее автору.

Читая с увлечением и с известным пиететом книги Гершензона, даже если он иногда мог в них «поскользнуться», я никогда не думал о том, что был он не только участником, но и движущей пружиной нашумевшего в свое время сборника «Вехи», в котором принимали участие многие из наиболее блестящих представителей дореволюционной философской мысли. Ленин, кажется, назвал этот сборник «энциклопедией либерального ренегатства», но в полемическом задоре Ленин никогда в выражениях не стеснялся. Несомненно другое — в «Вехах» было немало предвидений, для многих малоприятных. Но я невольно отклонился в сторону — как бы не относиться к сборнику «Вехи», он не стал вехами в жизни Гершензона.

Но вот... живя когда-то в Берлине, мне посчастливилось встречаться с Михаилом Осиповичем, который приехал с семьей на короткую побывку. Мне удалось провести в его обществе... затрудняюсь сказать несколько «вечеров», потому что было известно, что он укладывается спать невероятно рано и надо было смываться почти «не солоно хлебавши», так как уходить от него не хотелось, он подлинно умел «завораживать».

Это был маленький, круглоголовый, горбоносый и остроглазый человечек предельно семитского типа, весь словно заросший густой щетиной. Он постоянно жестикулировал и разговаривал с известной категоричностью, оспаривать которую было нелегко да, собственно, редко когда он давал повод для оспаривания.

В Берлине он жил в том же пансионе, в котором поселился и Андрей Белый и, кстати сказать, ставил своего соседа необычайно высоко, пожалуй, выше всех современных ему русских писателей, не скупясь на славословия беловскому «Петербургу», который он считал явлением пророческим.

Было в Гершензоне что-то странное. С каким бы пылом он не поддержилва беседу, сам увлекаясь и за собой увлекая собеседников, в какой-то момент он схватывался со своего стула, куда-то убегал, возвращался и убегал снова. Оказалось, что собственной жизни у него вообще не было: была жизнь семьи и находясь в чужом городе, он считал своим отцовским долгом то

и дело выяснять, все ли у детей в порядке, может быть, им чего-то недостает.

В молодости он долго жил за границей, одно время за границей учился, знал языки, переводил прозу Петрарки, но тогдашний Берлин воспринимал так, как если бы попал в какой-то свифтовский Бробдиньяк. В его восприятии здесь жили не совсем нормальные люди, царили непонятные нравы. Он недаром рассказывал, что дело дошло до того, что накануне он — семейный и почтенный человек, бегая по городу в жаркий день, утомился и его одолевала жажда. Как-то «не думая», он зашел в кафе и заказал стакан воды. Он очень удивлялся, что был как-то не вполне приветливо принят подошедшим за заказом «кельнером»! Едва ли с большим негодованием он повествовал бы о том, если бы по неосмотрительности попал в более «веселое» заведение!

В Берлине он оставался недолго. Недаром в знаменитой «Переписке из двух углов» он писал своему корреспонденту, Вячеславу Иванову: «Мне скучно от обилия фабричных вещей и еще больше меня тяготит загроможденность моего духа...». Было поэтому естетственно, что он торопится домой в Москву, к своим книгам, к своему, пускай исковеркованному арбатскому быту, хоть и дома ему приходилось тяжко, очень подчас тяжко. Его не жаловали. Он был идеалистом, оставался идеалистом, идеалистом не только в теории, но и в жизни и это было явно «не ко двору». Его еще как-то терпели, но не больше.

В Берлине он успел запродать для переиздания две или три из своих старых книг, показал германскую столицу сыну и дочери и почти так же незаментно уехал обратно, как бесшумно появился на берлинском русском горизонте.

Но тем, кому удалось с ним тогда встретиться — это были его предсмертные годы — навеки сохранят память не столько о его эрудиции, сколько о его внутреннем горении, его «бесшумном» пафосе, как только возникал разговор на близкие его сердцу темы. Трудно также забыть всю глубину его доброжелательства, его желания придти на помощь даже когда сам он был, по существу, беспомощен.

«Твой жар воспламенял к высокому любовь». Эта пушкинская строка невольно приходит на память, когда я вспоминаю несколько мимолетных встреч с этим вполне замечательным человеком с Никольского переулка, что на Арбате.

СИЛУЭТ РУССКОГО КРИТИКА

Если вы, милый читатель, способны закрыть глаза и у вас достаточно воображения, чтобы мысленно представить перед собой учителя провинциальной гимназии предреволюционной эпохи — низкорослого человечка, слегка сутулящегося, подслеповатого, кажущегося застенчивым и, собственно, мало чем выделяющегося, то перед вами предстанет облик одного из виднейших литературных критиков тех далеких лет, Юлия Исаевича Айхенвальда, автора когда-то не в меру популярных и неоднократно переиздававшихся «Силуэтов русских писателей». Портрет этот будет иметь тем более точек соприкосновения с оригиналом, что Айхенвальд был не только критиком и лектором, но и преподавал словесность в одной из женских школ старой Москвы.

Вопреки тому, что его внешние данные этому отнюдь не предрасполагали, все его ученицы были в него, как это часто водится, поголовно «влюблены». Мне когда-то случилось хорошо знать одну из них — бедняжка, она впоследствии погибла с мужем-известным издателем в Бухенвальде — и она мне подробно рассказывала о том увлечении Айхенвальдом, которым был заражен весь класс. Меня это поражало, так как зная его и довольно часто с ним встречаясь, я не понимал, чем такие чувства вызывались у подраставших девиц. Объяснялись же они не его внешностью, а ораторским даром, закругленностью фраз, умением преподать своим ученицам что-то, что в программу гимназического курса не входило, что-то сверх того «чем характер Онегина отличается от характера Ленского». Еще одной чертой его педагогического таланта было особое искусство внушить каждой из учениц, что он не столько обращается к многоголовому классу, сколько именно к ней.

Эта черта, между прочим, оставалась у него до конца жизни. Слушая его доклад или его заостренное полемическое выступление, которые были его «коньком», можно было думать, что все, что он говорит, относится не столько к аудитории или предыдущему оратору, сколько лично к вам, словно он был уверен, что вы-то его поймете, а что до вашего соседа, то это дело темное!..

Я указывал на популярность и распространенность его «Силуэтов». Следует, конечно, добавить, что не перечислить и числа их зоилов. Айхенвальда буквально пытались разорвать в клочья символисты, марксисты легальные и нелегальные, позднее формалисты. О его небольшой книге о Пушкине Ходасевич поместил в «Русском слове» фельетон, озаглавив его «Сахарный Пушкин»! Никому из них он не угодил, потому что был чистой воды импрессионистом, падким на красоту, а порой и на «красоты», ненавидел грубость, не терпел никаких «наскоков» и оттого предавал анафеме футуристов и новаторов любого толка.

Ни к какой школе, ни к какому течению сам он не принадлежал, никого во имя какой-либо «партийности» не поддерживал и отличался тем, что не любил нападать на слабых или трунить над начинающими, если только чувствовал в них хоть каплю таланта.

Отходя от какой бы то ни было наукообразности, он пытался доказывать, приводя надлежащие примеры, почему одним он восторгается, а другое презирает или полу-презирает. Так, он восхвалял Бунина не только как прозаика, но и как поэта; приклеил к Брюсову, царившему тогда на российском Парнассе, этикетку «преодоленная бездарность», о Горьком говорил, что «он и не начинался»! Зато восхвалял в рискованное для этого время Ахматову и Гумилева. Он совершенно игнорировал, как на его оценки отзовется та или иная «княгиня Марья Алексевна», хотя бы из самых крайних и красных! Он преклонялся перед Толстым, но не взлюбил Тургенева, Белинского считал пустомелей и спорить с ним на эти темы было бесполезно.

В первые годы революции многих озадачивало его внешнее спокойствие, казалось, что он не отдает себе отчета в том, что творится вокруг. Стоя за прилавком писательской книжной лавки, иные из своих критических оценок, казавшиеся тогда особенно несвоевременными и «рискованными», он, ни-

чем не смущаясь, еще вслух заострял. Недаром сам Троцкий, в те дни еще всесильный, разразился частично посвященным Айхенвальду фельетоном, озаглавленным «Диктатура, где твой хлыст?».

Естественно, что такой фельетон имел для Айхенвальда «некоторые» последствия. Но времена еще были «младенческие» и в результате столь грозного окрика Айхенвальд угодил не на Соловки или еще подальше, а был посажен на борт того теплохода, который увозил за границу цвет старой русской интеллигенции.

Семья Айхенвальда за ним не последовала, мало того — его сын примкнул к коммунистической партии, но вскоре из-за книги по политической экономии, вызвавшей сенсацию и изданной в десятках тысяч экземпляров, попал в один из гулагов.

Айхенвальд очутился в Берлине один-одинешенек. Немецкий язык он знал в совершенстве, но это знание не имело для него никакого практического применения. А владел он языком настолько, что читая его перевод Шопенгауэра, невольно думается, что «Мир, как воля и представление» был написан по-русски. Можно полагать, что какую-то роль в вдохновенности этого перевода сыграло и то, что шопенгауэровский пессимизм был во многом Айхенвальду сродни.

Близорукий человек, мало к чему приспособленный вне узкой сферы, он был подлинно «старомоден» — не только манерой одеваться, но и внутренне, он не умел и не хотел плыть по течению. Мало того, он не умел ценить блага цивилизации и считал, что всякие технические усовершенствования приводят к духовной нивелировке, которая его всегда отвращала.

В Берлине он вел подлинно аскетическую жизнь. Зрение его все слабело, он еще различал физиономии собеседников, но не узнавал улиц, по которым ходил, не чувствовал окружающей его природы. Он читал лекции, давал частные уроки и в одной из берлинских русских газет вел литературный отдел, уделяя по субботам два «подвала» книжным новинкам. Не желая подводить семью, он свои статьи подписывал каким-то псевдонимом, который был, конечно, «секретом полишинеля».

На общем фоне того литературного круга, который осел тогда в Берлине, он со своими белоснежными манишками казался неким «чистюлей», мягким в обращении, мягким в критических высказываниях, существом еле заметным и подлинно беззащитным. Между тем, если что-то шло вразрез с его основ-

ными принципами или кто-то наступал ему на ногу, он умел парировать удары и даже иногда показывал когти.

У нас установились тогда ровные, хоть и лишенные какой-либо внутренней близости отношения. Разделяла не только разница в возрасте (к молодым он был особенно внимателен), сколько то, что у нас были разные боги.

Курьеза ради упомяну, что у меня сохранился неласковый его автограф: открытка, в которой он скулит по поводу того, что я, несмотря на его напоминание, не вернул ему какой-то книги. Открытка написана тоном ему мало свойственным, имя-отчество не сопровождено никакими прилагательными и в конце письма довольно раздраженное — «не знаю, чем объяснить ваше невнимание к моей просьбе». Чем это объяснить, действительно, не знаю — запамятовал! Знаю, однако, что после того, как инцидент был ликвидирован, он подарил мне первый том переиздания своих «Силуэтов», снабдив подарок лестной для меня надписью.

Вспоминая сейчас Юлия Исаевича, встреченного почти «на заре туманной юности», мне не в меру досадно, что тогда я не проявил к нему большей сердечности и, может быть, какой-то толики заботливости. Она ему больше всего недостовала. Впрочем, это было непомерно трудно — очень уж он был замкнут и «застегнут», едва ли близко к себе кого-либо подпускал. Единственными его настоящими друзьями были книги.

Погубила его близорукость. Переходя одну из берлинских улиц, он попал под трамвай. Не приходя в сознание, через несколько часов после этого он скончался. Недаром в течение всей своей жизни он был пессимистом, не зря ненавидел «машины»...

ПОСЛЕДНИЙ РОМАН АЛДАНОВА

Посмертный роман Алданова «Самоубийство», впервые выпущенный в Нью-Йорке «Литературным фондом» в 1958 году, появился недавно в новом издании. А так повелось, что факт переиздания книги зарубежного автора можно почти приравнивать к литературному событию, настолько необъемист зарубежный русский книжный рынок или, вернее, настолько малочисленна читательская масса, способная приобретать книги, которые обычно ей «не по карману» и к тому же громоздки, если только они набираются. Поэтому переиздание «Самоубийства» — явление симптоматичное. Оно показывает, что автор книги не только остается одним из любимых писателей русского зарубежья, но что читатель, наряду с алдановскими «Истоками», по достоинству оценил и этот его последний роман. Обе эти книги несомненно принадлежат к лучшему в его довольно обширном литературном наследии.

В зарубежной критике, а иногда и в читательском сознании, образовался некий штамп о влиянии на Алданова Анатоля Франса, чуть ли не о том, что Алданов в каком-то смысле «русский Анатоль Франс», причем эта довольно несуразная этикетка была даже приклеена к нему иными, не слишком вдумчивыми литературоведами. Подобная параллель могла показаться тем более обоснованной, что с большой долей наивности повелось сравнивать алдановские романы, частично посвященные эпохе французской революции, с франсовскими «Жаждущими богами».

Спора нет — в писаниях Алданова всегда налицо известный терпкий привкус скептицизма, как у Анатоля Франса рядом с его насмешливой улыбкой неизменно присутствует тень вольтерианства. Но тут дороги обоих писателей расходят-

ся, так как по существу скептицизм одного исходит из совершенно другого источника, чем у его «коллеги». Если позволено будет воспользоваться вульгаризмом, можно утверждать, что скептицизм одного совсем не из «того же теста», что у другого.

Следовало бы напомнить, что в молодые годы, именно в те годы, когда Франс почти безраздельно царил над французской литературой, Алданов не без юношеского задора, даже преувеличивая его значимость, превозносил творчество Ромен Роллана. Хотя сам он тогда еще не приступал к беллетристическим опытам и о каких-либо «влияниях» на него не могло быть речи, роллановский «Жан-Кристоф» был ему, вероятно, ближе и созвучнее флорентийских красот «Красной лилии» или намеков на свои социалистические взгляды в «Острове пингвинов».

Если с годами Алданов отошел от своих более ранних пристрастий, то это несомненно произошло по вине русской революции, пережив которую, он почувствовал себя, как «человек, проживший всю жизнь в Эвклидовом мире и внезапно попавшем в мир геометрии Лобачевского». Алданов был уже не в состоянии ни душевно, ни политически, ни эстетически оставаться в русле роллановских настроений, пребывать «над схваткой». Хотя захвативший его водоворот вынес его на берега Сены, он после пережитого уже не мог впасть в самодовольный, «сытый» скептицизм ради скептицизма, умышленно выращиваемый Франсом в кунсткамере своей «виллы Саид», резиденции вблизи Булонского леса.

Алданову полюбилось давать своим книгам двусмысленные, хитроумные заглавия. Так, один из своих романов он озаглавил «Ключ». Чего проще? Но хотя ключ и играет немаловажную роль в заключительной, «детективной» части романа, читатель до конца пребывает в неуверенности: что, собственно, имел в виду автор — простой, сработанный слесарем ключ или «ключ» в более выспренном значении слова.

То же получилось и с «Самоубийством». Что подразумевал Алданов? Хотел ли он таким заглавием подчеркнуть, что в его повествовании особое значение имеет двойное самоубийство его вымышленного героя и его жены, одного из тех, кто активно содействовал расцвету русской экономической жизни после первой революции? Или самоубийство в каннском отеле поддерживавшего ленинскую казну и выстроившего здание Художественного театра богача Саввы Морозова, играющего в романе хоть и не слишком видную, но глубоко символическую роль?

Кстати сказать, говоря о Морозове, Алданов не совсем зря цитирует произнесенную этим последним знаменательную фразу — «Какие-то биографы, сказал Морозов, врали, будто Лермонтов «искал смерти». И о других поэтах говорят то же самое. Коли в самом деле искали, то очень скоро нашли бы: дело нехитрое...». Или, наконец, думал ли Алданов о возможности более глубокого истолкования своего заглавия, то есть о том, что он подразумевал под ним самоубийство Европы, происшедшее в 1914 году из-за случайного сцепления тысяч и тысяч мелких и непредвиденных обстоятельств, каждое из которых ничего не стоило предотвратить и, вместе с тем, каждое из которых могло в корне изменить последующие этапы истории.

Другими словами, не является ли полифонический роман «Самоубийство» красноречивой иллюстрацией и картинным дополнением к тем положениям о роли случая в истории, которые Алданов с такой картезианской логичностью разбирал в своих «философских диалогах», как он назвал свою книгу «Ульмская ночь».

Вероятно, чтобы с бóльшей наглядностью довести свои мысли до читателя, заодно чтобы «поддеть» его, Алданов ввел в свой роман целый ряд мастерски очерченных портретов исторических лиц. Например, на страницах романа мы встречаем Ленина с Крупской и даже с Инессой Арманд, написанными без оттенка злобы, без иронии, без схематичности, без какой-либо беллетризации, с той художественной правдивостью, которая редко кому при описании Ленина удавалась.

Не менее выпукло созданы им «силуэты» престарелого Франца-Иосифа и Вильгельма II, «социалиста» Муссолини и Эйнштейна, с нетерпением ожидающего будет или нет напечатана его статья, перевернувшая судьбу мира, Витте и Дурново (Алданов часто в своих писаниях, хотя бы вскользь, упоминает Дурново, считая его одним из наиболее умных и проницательных деятелей последнего периода царской России).

А рядом Алданов дал чуть лубочный, чуть слишком пестрый, но все-таки остающийся в памяти, образ одного из участников знаменитой в анналах русской революции тифлисской экспроприации, некоего фиктивного Джамбула, которого это кровавое действо окончательно от революции оттолкнуло. Но хотя этому самому Джамбулу, если только подсчитать, посвящено больше страниц, чем любому из упомянутых исторических лиц, кажется, что он больше всего был нужен Алданову,

чтобы его устами сказать: «Политика — грязь. Желаю всяческих успехов нашим доморощенным Жоресам, хотя Жоресы очень часто гибнут, такова их судьба...».

Но, кроме этой исторической стороны романа, читателю должно бросаться в глаза, что рядом со всеми побочными рассуждениями ни один из героев романа, как между строк и сам автор, ни на минуту не может отвязаться от мысли о смерти, так или иначе она тут как тут. О чем бы он ни говорил, автор готов мысленно повторять слова Марка Аврелия о том, что «высшее назначение человека — готовиться к смерти» или пытаться истолковать заключительное восклицание Ивана Ильича — «Где она? Какая смерть? Кончена смерть. Ее нет больше».

«Самоубийство», вероятно, найдет теперь тысячи новых читателей (иначе ради чего бы его переиздавали люди, чуждые меценатских наклонностей?) и это радостно. Да, к примеру, недавно в одном из сборников, выпускаемых так называемой «третьей эмиграцией», я не без удивления наткнулся на несколько хвалебных фраз, посвященных алдановскому роману.

Удивление мое относилось, конечно, не к самим похвалам, а к тому, что их автор — довольно видный советский писатель, несколько лет тому назад переставший быть «советским», но естественно своей «советскости» еще не утративший, поражался тому, что он — русский писатель, знакомый с творчеством всяких Кочетовых и Софроновых, ничего не знал о другом русском писателе — Алданове, подчеркивая при этом «чудовищность» этого факта. Слово он выбрал для данного случая, действительно, как нельзя более подходящее.

Но дальше автор этих вкрапленных в большую статью замечаний продолжал: «Самоубийство» прочел, не отрываясь. Книга о русской интеллигенции начала века. Есть и Ленин и Крупская. Описаны без всякой злобы, с ясным и чутким пониманием того, что Ленин нес в себе. Написана книга прекрасно интеллигентным, умным человеком».

Автор заметки очевидно был поражен отсутствием в книге ненужных «словечек», якобы придающих нервность повествованию, и всякого рода диалектизмов, а если они с определенной целью и попадаются, то непременно вставлены в кавычки. Но все-таки «Самоубийство» было прочтено им наспех, и автор хвалебных строк до конца не вник в содержание романа. «Интеллигенция», как таковая, не играет в нем большой роли, а

если и появляются ее представители, то они всегда на втором плане, почти эпизодичны.

Если только внимательно и непредвзято прочесть книгу, то легко обнаружить, что вся она о круговороте истории или, лучше сказать, о трагедии истории или еще...

Но здесь мне могут сделать упрек в чрезмерно личном подходе, потому что я хочу вспомнить последний вечер, который я провел с Алдановым за две-три недели до его смерти, и постараться восстановить то, что он тогда говорил о своем романе. Я только задним числом понял, что в этой книге он как бы подводил итоги своим взглядам на превратности истории, на превратности человеческой судьбы, нехотя вступал в некий спор с Толстым о роли личности в истории. Свою прирожденную скептичность он подменял, казалось бы, ему мало свойственной трагической маской. Но, может быть, именно эта маска, которую он не хотел показывать «посторонним», и была его подлинным лицом.

В тот вечер было заметно, что за судьбу своей книги, которая еще печаталась фельетонами в нью-йоркской русской газете, он волнуется, вероятно, предчувствуя, что в отпечатанном виде ему едва ли будет дано ее перелистать. В тот вечер, может быть, ему, как всякому автору, хотелось — пускай в последний раз — услышать, что о его романе скажут или напишут умные соотечественники, даже если тех, с мнением которых он считался, оставалось считанное число.

ОТЕЦ «АПОЛЛОНА»

К крылатым пушкинским словам о том, что «мы ленивы и нелюбопытны» можно было бы добавить, что мы к тому же забывчивы. Как часто предаем мы незаслуженному забвению тех, кто покинул этот мир до нас. Так, горько подумать, что мы здесь не удосужились помянуть о том, что недавно исполнилось сто лет со дня рождения человека, сыгравшего значительную роль в русской культурной жизни той далекой эпохи, которую теперь с щемящим чувством именуют «серебряным веком». Я имею в виду Сергея Константиновича Маковского, которого, невзирая на разницу лет, мне хотелось бы назвать старшим моим приятелем.

Маковский был художественным критиком, поэтом, редактором, знатоком искусства во всех его проявлениях и, помимо того, человеком, любившим пожить и умевшим делать это с присущим ему «аппетитом» и вкусом. Еще в патриархальные дореволюционные времена он оказался «отравленным» модернизмом, до поры до времени даже «ницшеанством», и стремился ознакомлять своих читателей со всем новым, что просачивалось из-за границы и не успело еще быть освоено на родной почве. А затем, вынужденный к тому, чтобы переселиться на Запад, он — парадоксальным образом — стал в каком-то роде «славянофилом» (конечно, не в константин-аксаковском смысле), стараясь приоткрыть все то ценное, что рождалось в оставленном им отечестве, дым которого далеко не всегда бывал ему приятен.

Как Маковский в свое время вспоминал, впервые он попал в Париж в день торжественного погребения Виктора Гюго и теперь даже жутко подумать, когда это могло происходить. В молодости он часто ездил за границу, знал Европу, «как свой кар-

ман», а затем провел в ней более половины своей долгой жизни (умер он 85-ти лет). Был он не только внутренне, но и внешне, с той долей кокетства, которая была ему свойственна, холеным «европейцем».

А между тем, он был бы гораздо более на своем месте на берегах Невы, за редакторским столом своего детища, журнала «Аполлон», воспитавшем эстетические вкусы целого поколения. Может быть, этим его свойством и объясняется, что он сохранил до конца дней свою «петербуржскость», в манерах, в выговоре, в обращении с посторонними, в отношении к жизни. Собственно, он оказался одним из «последних могикан» этой ископаемой породы.

Его почему-то недостаточно ценили по достоинству, не прочь были над ним исподтишка подсмеиваться, не всегда принимали всерьез, может быть, потому, что даже в его высокой и худощавой фигуре было что-то Дон-Кихотское. Между тем это был человек не только с огромным культурным багажом и необъятным грузом воспоминаний, но и с тонким вкусом и большим личным обаянием. Он нередко увлекался, чего-то недооценивал, что-то переоценивал, но отчасти в этом и заключалось его своебразие. Когда-то в книге «Портреты современников» он называл Александра Бенуа «ретроспективным мечтателем». С неменьшим основанием такая кличка относима к нему самому. «Ретроспективным мечтателем» он оставался до своего последнего дня.

Заслуга или удача Маковского заключалась в том, что в свой «Аполлон», основывая его в годы угасания символизма, ему удалось привлечь к качестве ближайших сотрудников, а отчасти и менторов, таких людей, как Иннокентий Анненский, Вячеслав Иванов, Кузмин — проповедывавший «прекрасную ясность», Гумилев с его тонким поэтическим вкусом. А, кроме того, благодаря его «Страницам художественной критики» стали известны и даже популярны имена многих художников, едва начинавших свое восхождение (стоило бы здесь упомянуть хотя бы имя Шагала).

Ведь именно на страницах «Аполлона» появились первые стихи Ахматовой и Мандельштама, а рядом с ними впервые увидел свет знаменитый цикл «Итальянских стихох» Блока, по поводу которых у поэта с редактором возникла любопытная «перепалка». Маковский часто бывал чрезмерным пуристом и указывал Блоку на кое-какие грамматические погрешности в

его стихах. Блок, однако, на исправления не соглашался, и Маковскому, будь сказано к его чести, пришлось сдаться.

Его первым эмигрантским пристанищем была Прага; затем, перебравшись в Париж, он одно время редактировал литературный отдел газеты «Возрождение», но ушел оттуда, не поладив с непокладистым владельцем газеты. Было у него после этого достаточно свободного времени, чтобы все больше уделять его поэтическому творчеству. Недаром за последующие годы выпустил он чуть ли не десять сборничков стихов (включая посмертный). Но при всей его талантливости Маковскому чего-то нехватало, чтобы его стихи стали подлинной поэзией. У него был вкус, большие версификаторские способности, но над его поэтическим творчеством всегда ощущался налет риторики. Он был отличным педагогом, а его самого преследовала какая-то «бескрылость». Должно быть, по слову Овидия, он в стихах «искал утешения, а не славы».

А еще: в тяжелых условиях эмиграции Маковскому удалось нечто едва ли мыслимое. Он нашел меценатку, влюбленную в молодую поэзию, и с ее помощью основал небольшое издательство, выпустившее в послевоенные годы — шутка сказать! — несколько десятков сборничков зарубежных поэтов. Конечно, их удельный вес был не всегда однозначащ, но не будь энергии Маковского, вероятно, большинство стихов целого ряда талантливых поэтов до скончания века пролежало бы в их письменных столах, если таковые у них только были.

Примерно в те же годы Маковский работал над своими воспоминаниями (он успел издать два тома), в которых можно найти ценнейшие записи о его отце, художнике, некогда прославившемся на всю Россию, о тех, с которыми ему посчастливилось встретиться в жизни или тех, которые стали его друзьями. Стоило бы в этом ряду назвать Владимира Соловьева, поэта Случевского, Серова, Шаляпина, Коневского, Дягилева — имя им легион... Когда я живал вне Парижа, мы иногда переписывались, и в одном из его писем, посланном одновременно с книгой воспоминаний, он писал: «Дружеская просьба отметить ляпсусы, их немало, особенно перепутаны годы рождения и смерти. Если что заметите — напишите, вы ведь все помните!».

Энергии у Маковского до конца дней было хоть отбавляй! Он всегда носился с какими-то проектами, составлял какие-то планы, в большинстве случаев неосуществимые. Помню, как он, когда я работал в Мюнхене, приезжал в баварскую столицу с за-

мыслами столь нереальными, что я мог только развести руками и в то же время позавидовать его юношескому пылу, так мало соответствующему его почтенному возрасту.

А летом 1962 года, будучи в Париже, хоть времени у меня было до крайности мало, мне захотелось навестить его. Он жил в маленьком особнячке, снимал комнату у какой-то русской дамы. Когда я пришел, он был одни-одинешенек во всем доме, лежал на кушетке, накрывшись тяжелым пледом, хотя время было летнее, жаловался на слабость, на апатию, на какое-то непривычное безразличие ко всему. Но потом разговорился и стал постепенно воспламеняться и долго рассказывать о забытом и крайне интересном поэте, пожалуй, единственном подлинном русском «парнассце», царскоселе графе Василии Комаровском, книжка стихов которого «Первая пристань» лежала на его пледе. Он протянул мне эту давно ставшую редкостью книгу и добавил — «возьмите с собой, почитаете дома, а после вернете». До сих пор жалею, что почему-то я от этого предложения отказался.

А вернувшись в Мюнхен, через очень короткий срок после моего визита я узнал, что в той же комнате, в которой я провел с Маковским час-другой, он снова очутился «наедине с собой», почти неожиданно закрыл глаза и тихо заснул. Говорят, что это «счастливая смерть», не знаю...

В заключение мне хотелось бы процитировать несколько строк из его последнего сборничка «Реквием», изданного его сыном:

«Но есть одно... Над гробом друга
нельзя на небо не восстать.
От жалости, любви, испуга —
нельзя, нельзя смириться... Знать,
что землю вовсе он покинул,
что дух единственный его
куда-то канул, скрылся, сгинул...
Был человек — и ничего!».

«Был человек и ничего...». К Маковскому эти слова не должны быть отнесены. Пускай он и не завершил всего, что сделал бы в иных исторических условиях, но и выполненного им, его наследства достаточно, чтобы память о нем сохранялась. Один его «Аполлон» тому порукой, и как неуютно думать, что так тесно

связанное с ним журнальное заглавие было использовано для издания кирпича, и внешне, и внутренне враждебного тому «Аполлону», который был его любимым детищем и поныне почитается западными славистами документом столь важным для изучения русской культуры целой эпохи, что, несмотря на все технические и типографские трудности, комплект журнала был недавно переиздан, и это факсимильное, дорогостоящее издание было сравнительно быстро исчерпано.

Как бы огорчался Сергей Константинович, узнав о первом, и как бы радовался второму.

ОТ СИРИНА К НАБОКОВУ

Я встречал его считанное число раз, личных отношений с ним не поддерживал и могу только сказать, что если я шапочно знавал Набокова, превратившегося в Сирина, то едва ли знал Набокова, от Сирина отказавшегося. В Берлине меня когда-то познакомил с ним один из его одноклассников по Тенишевскому училищу, который был и моим близким приятелем.

По окончании кэмбриджского университета Сирин вернулся на берега Шпрее. Был он тогда очень стройным, физически привлекательным, спортивным, чуть энглизированным молодым человеком. Давал он уроки английского языка и, кажется, тенниса, и сотрудничал в одной из русских газет, составляя для нее, главным образом, шахматные задачи и крестословицы. Был он отличным шахматистом-любителем, а словесная эквилибристика была его коньком и он очень был горд тем, что придумал слово «крестословица».

Но, кроме того, Сирин предавался поэтическим вдохновениям. Смутно вспоминаю теперь, что о его первом сборничке «Гроздь» мне тогда же довелось сочинить довольно кислую рецензию. «Гроздь» был одним из тех сборников, которые на свой счет слишком рано издают молодые поэты и потом об этом полжизни сожалеют. Впрочем Сирин (какой неудачный «птичий» псевдоним, так мало соответствующий изысканности его вкуса) был в этом деле не первым и не последним: в его оправдание достаточно назвать примеры Гоголя или Некрасова.

Он был тогда еще под влиянием символистов, прельщался «багряными тучами» и «лазурными скалами», но все же в его наивной незрелости были какие-то черты, указывающие на его поэтическое дарование.

Между тем, вскоре после появления «Грозди» Сирин перешел на прозу и сразу же начал набирать высоту. Он чувствовал себя все более и более уверенным, когда один за другим стали появляться его романы, в первую очередь вызывающие у читателя нескрываемое удивление, некое от души идущее, глубокое «ах».

Было бы трюизмом повторять, что в книгах Сирина почти всегда ощущалось известное штукарство и, пожалуй, высокомерие, несвойственное русской прозе. Тем не менее, благодаря своей необычности, соединенной со стилистической элегантностью, Сирин очень быстро занял первое место среди молодых прозаиков зарубежья, хотя во всех его писаниях были черты, способные от него отталкивать. Была какая-то надуманность, едва ли скрываемое от постороннего глаза желание быть оригинальным. Гиперболичность его приемов нередко приводила к тому, что в конце концов он пародировал самого себя, свою манеру писать. Большинство его героев было людьми «двухсполовинного» измерения, чего-то им всегда недоставало, все в них двоилось и за них трудно было ухватиться. Недаром сам Сирин где-то написал о гоголевском Акакии Акакиевиче, что «он абсурден хотя бы потому, что человечен» и это суждение могло бы стать девизом в сиринском литературном гербе.

Флобер когда-то произнес ставшие знаменитыми слова — «Мадам Бовари — это я». Ведь, действительно, у каких литературных героев не найти переведенного на язык художественной прозы отсвета биографии их создателей. Как это ощутимо в толстовском Левине, в Обломове, в ряде тургеневских героев, в бунинском Арсеньеве. Однако, как мне видится, Сирин больше всего опасался, что его невзначай уподобят кому-либо из созданных им действующих лиц, что кому-нибудь из них припишут авторские черты. Может быть, именно из-за этого он создал целую галерею гротескных фигур, словно видя их сквозь те вогнуто-выпуклые зеркала, которые были когда-то неотъемлемой частью всех Луна-парков, именно из-за этого ни одни из них не стоит на земле обеими ногами.

То богатство фантазии, которым он был наделен, и тот огромный талант, который был в нем заложен, он часто, слишком часто растрачивал на формальную сторону своих писаний, на низвержение общепризнанных авторитетов, на «позу». При

его изощренной культуре многие из его суждений трудно было принять за чистую монету.

Был в нем какой-то снобизм, диктовавший ему — наперекор истине — признаваться, что в его литературном образовании немало белых мест, что многого он не удосужился прочитать. Бунин, к примеру, любил вспоминать о том, как Сирин поведал ему, что вот, только недавно (это было в предвоенные годы) дочитал «Войну и мир» и наибольшее впечатление во всем романе произвела на него сцена, в которой Анатолию Курагину ампутируют его «белую» ногу!

Сирин не раз утверждал, что не имел времени ознакомиться с Кафкой, Прустом. Было бы, конечно, наивно говорить о том, что сиринское «Приглашение на казнь» было внушено Кафкой. Несмотря на известную общность сюжетов, которые носились тогда в воздухе, у них различные истоки и несходное миропонимание. Но как-никак, трудно себе представить, что Сирин прошел мимо автора «Процесса».

Еще более трудно (и неловко!) поверить его утверждению, что лермонтовские «Горные вершины», якобы извратившие Гете кажутся ему несносными; что Достоевский, тень которого нетрудно уловить на некоторых страницах Сирина — «автор значительно переоцененных, сентиментальных, «готических романов», что Стендаль, Бальзак и Золя с его точки зрения «три гадких посредственности». А ведь эти слова принадлежат уже не молодому и задорному Сирину, а степеннему Набокову, писателю с мировым именем.

Это имя он приобрел благодаря «Лолите», пришедшей по вкусу широкой публике, но далеко не лучшем из его романов. Насколько ценнее «Лолиты» с ее холодной эротикой такие его вещи, как мемуарные «Дальние берега», как сатирический «Пнин», пародийный «Бледный огонь» или весьма примечательная небольшая книга о Гоголе, который несомненно был одним из набоковских предков. Именно поэтому, говоря о Гоголе, Набоков раскрывает самого себя. Оригинальность этой книги совсем не в том, что биографию Гоголя он начинал со дня его смерти или оттого, что в ответ на пожелание его издателя приложить к книге портрет Гоголя, Набоков предлагает ему заказать «превосходному графику — Добужинскому» изображение только одного торчащего, остроконечного гоголевского носа! В этом предложении, якобы лишенном юмористических черт, отражается весь Набоков.

В его литературоведческих работах поражает его усидчивость, его иногда дотошное копание в источниках. Нельзя, например, обойти молчанием его четырехтомного издания «Евгения Онегина» с неправдоподобно обширным комментарием, для составления которого Набоков должен был проглотить сотни увесистых книг и проштудировать от доски до доски десятки забытых русских и французских поэтов. Но и здесь, в этом ценном, хотя порой спорном, вкладе в пушкиниану, в этом якобы «пособии для студентов» Набоков не мог удержаться от того, что чтобы не пустить водопад «шпилек» по адресу авторов ему неугодных!

Владея в совершенстве многими языками, он считал, что все его читатели, достойные уважения, должны все эти языки понимать. Чтобы не быть голословным, я только приведу начало его запутанного романа «Ада», так и не появившегося на русском языке. Начало это симтоматично. Вот его перевод:

«Все счастливые семьи в большей или меньшей степени несхожи, все несчастные друг на друга похожи», (sic!) говорит великий русский писатель в начале своего знаменитого романа «Анна Аркадьевич Каренин». Впрочем эти слова имеют мало связи с семейной хроникой, которая будет здесь развернута и первая часть которой ближе всего к другому произведению Толстого «Детство и отечество»!

Такого рода каламбурами, coq-à-l'âne, как их называют французы или пародийными строками типа «От кочующих, праздно плутающих / Уползаю — и вот привстаю» переполнены, словно фаршем, набоковские книги. Но, увы, кто из иностранных читателей оценит их жало?

В одном из вариантов автобиографических «Других берегов» (по-английски «Говори, память») Набоков описывает свои встречи с представителями эмигрантского литературного мира. Он рассказывает о встречах с Буниным, Алдановым, Цветаевой, жалеет, что ему не случилось повидать Поплавского, а затем пишет: «но автором, который естественно меня больше всего интересовал был Сирин — человек моего поколения. Начиная с появления его первого романа в 1925 году и в течение последующих пятнадцати лет, когда он так же странно исчезнул, как появился, он вызывал острый и нездоровый интерес у критики, ощущавшей неловкость из-за отсутствия в

нем религиозного понимания и моральной озабоченности». Что к этому признанию прибавить?

Набокова нередко упрекали в том, что он, мол, не «русский» писатель, не только из-за того, что часть его книг написана по-английски или что их действие развивается за границей или в какой-то неотмирной стране, но, главным образом, потому что внутренний ландшафт его книг отнюдь «нерусский». Такой упрек, как мне кажется, равносилен упреку в отсутствии «русскости», обращенный к владельцу американского или какого другого паспорта. Разве дело в паспорте? То, что Набоков получил с «молоком матери», то, что ему в отроческие годы дало пребывание в родительском имении в окрестностях Луги, то, что он вынес из стен воспетого Мандельштамом Тенишевского училища, было в нем, несмотря ни на что, невытравимо. Он мог ненавидеть установившийся в «его» Петербурге режим, но, сам признавался, что «не был сыт разлукой» с родиной и «край сизой тучи, ромб лазури / и крап ствола сквозь рябь листвы» — это лужское видение никогда его не покидало. В стихах он, вероятно, был откровеннее, чистосердечнее, прямее, чем в своей блистательной прозе. Может быть, он сам сознавал, что его преувеличенное позерство было его ахиллесовой пятой, но от него у него уже не было сил отделаться. Может быть, именно поэтому он любил утверждать — пускай полуискренно — что его литературная слава ему менее дорога, чем то, что какая-то им открытая бабочка вошла в научный обиход под именем Plebejus cormion Nabokov.

В заключение мне хотелось бы привести два четверостишия, сопоставление которых мне кажется назидательным. Одно из них написано в Сан-Ремо, на итальянской Ривьере, в самом конце 59-го года, другое в Москве в январе того же года. Первое касается «Лолиты»:

Какое сделал я дурное дело,
и я ли развратитель и злодей,
я, заставляющий мечтать мир целый
о бедной девочке моей?

А рядом пастернаковское о «Докторе Живаго», о котором так презрительно высказывался в свое время Набоков:

Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Странные бывают реминисценции... Впрочем, противоположности иной раз сходятся.

ОБ ОДЕССКОМ ЖИЛБЛАЗЕ

Жил-был некогда писатель Семен Юшкевич. В свое время он пользовался всероссийской известностью и этому в известной мере способствовал Горький, пригревший его в начале его литературной карьеры. Чуть ли не из книжки в книжку Горький печатал его рассказы в столь популярных в те далекие дни сборниках «Знание», основателем и идейным руководителем коих он был. Радикально по тогдашним понятиям настроенное «Знание» стало затем выпускать и собрание сочинений Юшкевича, при чем в связи с этим начинанием Горький писал официальному директору издательства Пятницкому: «Мы помогаем жить Чирикову, Леониду Андрееву, почему не помочь Юшкевичу? Он, на мой взгляд, неизмеримо талантливее Чирикова и нужнее Андреева». Приблизительно в то же время, то есть, сразу после первой революции, сам Андреев в письме к Горькому острил: «Когда нет под рукой Юшкевича, то необходим хоть океан, чтобы не заглохло в душе чувство величественного!».

Да, Юшкевич, которого по началу привлекала социальная проблематика, был во многом в линии Горького. Он живописал городские низы, мещан и к горьковским интонациям примешивал одесские арготизмы. Это пленяло Горького, который был всегда падок на то, чего не знал.

К своему протеже Горький начал остывать только, когда тот несколько изменил свой первоначальный тон и перешел на натуралистическое бытописательство, в которое вводил — иногда гуще, иногда менее густо — импрессионистические краски. В конце концов Юшкевич распрощался с угасавшим «Знанием» — оно его и не задерживало — и вкупе с Буниным, Куприным, еще кое-какими из бывших «знаньевцев» обрел

«вольную» и стал печататься в альманахах с более широким горизонтом и более терпимым к проявлениям модернизама — таких как, например, «Шиповник» или «Земля».

Кто тогда не слышал имени Юшкевича? Кто его не читал? Ведь не было как будто ни одного либерального (тогда этот эпитет имел другое значение, чем сегодня) литературного начинания, которое обходилось бы без того, чтобы в список сотрудников не было включено имя Юшкевича. Не будучи московским жителем, он был даже кооптирован в пресловутую московскую писательскую «Среду», сыгравшую, как известно, немалую роль в литературной жизни начала века.

Но, вероятно, главное, что сделало популярным имя Юшкевича, было то, что Художественный театр поставил две или три его пьесы, из которых наибольшим успехом пользовалась драма с мистическим уклоном «Мизерере». Настолько она пришлась тогда по вкусу публики и критики, что после наделавшей столько шуму «Анатэмы» ее знаменитого из знаменитых автора, Леонида Андреева, обвинили чуть ли не в плагиате у Юшкевича. Словом это были знаки отличия, для публики более убедительные, чем любые «ордена».

А чуть позднее появился и увесистый роман Юшкевича, описывающий похождения Леона Дрея, своего рода современного одесского Жилблаза. Это была эпопея пошловатого, но пронырливого коммивояжера, написанная с большой долей юмора и с несомненным талантом. Она была весьма любопытна по фактуре, тем более, что «плутовской роман», как такой жанр именуют литературоведы, в рамках современности был явлением новым и свежим. Роман этот выдержал множество изданий, переиздавался даже в Советском Союзе, переиздавался и за рубежом и, действительно, ознакомил читателя с специфической жизнью Одессы, города «не как другие», «Одессы-мамы», как его иронически прозывали. Впрочем такая кличка весьма оскорбляла одесситов, которые все на подбор были урапатриотами своего родного города. Недаром сам Юшкевич мог иногда сравнивать Елисейские Поля с Дерибасовской, кажется, отдавая предпочтение этой последней и затем говорил, что Леон Дрей станет когда-нибудь таким же нарицательным именем, как во Франции бальзаковский Годиссар или Пер Гюнт. Ибсен был когда-то в России «последним криком моды».

Но вот прошло столько-то лет и кто еще помнит имя Юшкевича? Кто его еще читает?

Когда-то в молодые годы я был дружен с его старшей дочерью и, конечно, познакомился и с ее папой и мамой. Вспоминая теперь импозантную, но вместе с тем, «уютную» внешность Юшкевича, я готов понять слова Леонида Андреева, который с незлобивой иронией писал о «величественности» Юшкевича. Но все же не это было его характерной чертой — главное, что его как-то сразу выделяло, была словно просачивающаяся наружу семейственность, чувствовалось, что все его помыслы и устремления сосредоточены на мыслях о семье и даже работа на литературном поприще, хотя бы косвенно, связана с интересами семьи.

В Париже Юшкевичи жили в самом центре города, неподалеку от сквера, в котором погребены останки казненного короля Людовика XVI, и пока жив был Семен Соломонович, у них царила какая-то особая, несвойственная еще не утрамбовавшемуся эмигрантскому быту домовитость. Мне вспоминается — может быть, воспоминания все чуть утрируют — что, несмотря на скудость средств, у Юшкевичей всегда приготовлялись какие-то домашние соленья, варились варенья — все по одесским рецептам! — и хозяйка дома с особым радушием угощала гостей какими-то особенно вкусными и аппетитными котлетками. А в самом Юшкевиче было не только врожденное гостеприимство, но какая-то ласковость, почти нежность по отношению к гостю.

За рубежом он писал мало да и прожил недолго — внезапно умер от разрыва сердца в 1927 году, успев переиздать коекакие старые свои книги и выпустив одну новую — «Эпизоды».

Это была повесть о вчерашнем дне, едва тогда завершенном. В ней Юшкевич как бы старался не ставить точек над слишком большим количеством «i», хоть и описывал положения, насыщенные драматизмом. Все это развертывалось — могло ли быть по-другому? — на фоне Одессы, где и революция переживалась по-особому, «по-одесски».

Собственно, основной темой книги было не столько описание южно-русского города в эпоху гражданской войны и постоянных смен власти, сколько изображение революции, преломленной сквозь обывательскую пошлость, изображение стихийного натиска, искаженного своеобразным провинциализмом. Юшкевич описывал невзгоды мещанской еврейской семьи, на которую обрушивались все тяготы эпохи «военного коммунизма». Он картинно выделял своего героя, бывшего спекулянта,

преобразившегося в служащего местного совнархоза, а рядом с ним партийца, доброго малого без глубоких убеждений, не в меру ухаживающего за женой своего коллеги. Но рядом с этим набившим оскомину «треугольником» была у книги Юшкевича и оборотная сторона: уплотнение, недоедание, сложная процедура приискания необходимых продуктов, обыски, страх чрезвычайки, страх улицы.

Несколько упрощая, можно сказать, что лебединая песня Юшкевича, его «Эпизоды» были написаны человеком, обладавшим очень большой наблюдательностью и, вместе с тем, чувством юмора, но создавшую книгу горькую и во многом даже трагическую. Да и могло ли быть иначе при описании тех мрачных дней? Оказалось, однако, полной неожиданностью для автора, что за год до его смерти «Эпизоды» появились в советском издании, хотя, как правило, книги эмигрантов тогда в Москве были под запретом и никаких поползновений к «смене вех», в какой бы то ни было форме, Юшкевич никогда не проявлял.

Ясно помню, как незадолго до смерти он устроил у себя дома большой прием, на который кроме друзей, были приглашены все литературные «тузы» русского Парижа. Юшкевич прельщал тем, что прочтет свою новую пьесу.

Заглавия ее я не помню и думаю, что она никогда не была издана. Запомнил только ее чрезвычайную растянутость, ерзание на стуле и то чувство неловкости, которое наростало у слушателей по мере авторского чтения. Пьеса была донельзя нафарширована своеобразной мистикой, давно отжившей свой век и потому воспринималась, как некое сочинение Метерлинка «для бедных»!

На метро, конечно, все опоздали и я припоминаю, как выйдя из дома Юшкевича целой группой во главе с Буниным — кстати сказать, нежно Юшкевича любившим, как он по-особому относился ко всем одесситам — мы только переглядывались. Было как-то неловко обмениваться мнениями, уж слишком симпатичный человек был Юшкевич! В его неудаче было нечто трогательное и даже к себе располагающее. Видимо он понял, что его бытописательству пришел конец, что страница перевернута и, вероятно, втайне рассчитывал, что ему удастся поновому использовать ту тенденцию, которая создала успех его «Мизерере» на сцене. Он только, бедняга, забыл, что после рестановки «Мизерере» была мировая война, была революция, не было больше ни его Одессы, ни его Москвы, ни тех студен-

тов или курсисток, которые способны были простоять полночи в очереди лишь бы получить билет на спектакль Художественного театра.

А вскоре после этой читки на одном из пригородных парижских кладбищ большая толпа шла за гробом добрейшего и милого человека и хорошего писателя, сыгравшего свою роль в развитии отечественной литературы начала века.

ОБ ОДНОМ ГРАФЕ

Первым писателем с именем, с которым, очутившись в Париже, мне довелось познакомиться, был Алексей Толстой. Знакомство это произошло не то в конце 1920 года, не то в самом начале 1921. Были у меня тогда две приятельницы, очень «буржуазные» девицы и, как полагается, «приличным барышням» жили с родителями, людьми весьма состоятельными и гостеприимными. Я бывал в их доме и там впервые столкнулся с Толстым и его привлекательной женой, поэтессой Крандиевской. Стихи она писала хотя и очень женские, но милые...

Это был период расцвета толстовской литературной славы... заграницей! В единственном существовавшем тогда в эмиграции толстом журнале «Грядущая Россия» печатался роман Толстого «Хождение по мукам», а в недолговечном детском журнале «Зеленая палочка» повесть «Детство Никиты», пожалуй, одна из наиболее ароматных и удавшихся книг Толстого. Эту повесть читательская масса проглядела, тогда как «Хождение по мукам» — первое значительное литературное произведение, созданное за рубежом, вызывало пространные толки, без малого было принято с восторгом и разбирали роман «по косточкам» даже люди обычно от литературы далекие.

Теперь — десятилетиями спустя — этому читательскому успеху можно, пожалуй, удивляться. Даже в этом первом варианте романа, который впоследствии был значительно приперчен, картина предреволюционных канунов была нарисована без большой глубины, а изображение петербургской или московской «богемы», которую Толстой должен был знать «на зубок», потому что сам к ней принадлежал, было как-никак «кривым зеркалом». Было также неприятно, что в одном из героев «Хождения», писателе Бессонове, можно было без труда

распознать Блока и облик его — хоть сам он был еще жив — был намеренно шаржирован.

Но вернемся к самому Толстому. Он выделялся не одной своей внешней повадкой, руссейшим обликом, копной волос, зачесанных «а ла мужик» или добротностью одежды и лакированными ботинками, но и умением поддерживать общий разговор, который Толстой очень ловко и, казалось, непринужденно раздувал, как только он начинал тлеть. Уничтожая баснословное количество пирожков и печений, он от литературы перебегал к политике, от политике к театру, рассказывая, что вот-вот на одной из парижских передовых сцен начнут ставить его «Любовь — книгу золотую», а от театра перескакивал к подробному отчету о меню обеда, которым его потчевали в одном из прославленных парижских ресторанов. «И все эти яства сопровождались таким шамбертенчиком, что описать нет сил», добавлял он чуть ли не со слезой в голосе.

Попутно, едва считаясь с аудиторией, потому что он иногда прибегал к словам, которые заставляли краснеть присутствующих дам, он ругательски ругал большевиков, придумывая для их наказания какие-то сверх-утонченные пытки. Замечая вызванное им смущение, он менял тему и начинал проповедывать, что каждому необходимо выполнить свой «священный долг» перед Россией. Этот долг Толстой понимал довольно своеобразно. Он заключался в необходимости всячески поддерживать тот толстый журнал, одним из редакторов которого он сам состоял. «Надо возводить фундамент для дальнейшей идеологической борьбы», заключал он.

Но вот — силой сцепления различных обстоятельств примерно год спустя и Толстые, и я, и наши гостеприимные хозяева, все мы временно очутились в Берлине. Я тогда начал работать в одной из местных русских газет, но, кроме того, со мной произошла еще одна незначущая перемена, о которой упомяну для курьеза. Я близорук и носил пенснэ, которое было причиной многих моих горестей. Небьющиеся стекла еще не были в употреблении, а пенснэ то и дело норовило соскользнуть с моего носа и новые стекла непомерно отягощали мой тощий бюджет. К моему счастью, примерно тогда стали входить в обиход очки, почему-то долго непопулярные; считалось, что от «человека в очках» веет шестидесятничеством!

Вспоминаю эту мелочь, потому что встретив Толстого в Берлине, кажется, в полутемной редакции «Русской книги» у

профессора Ященко, он не только узнал меня, но сразу же на меня буквально набросился, словно поймав на месте преступления. «Как вы, якобы человек со вкусом, якобы эстет, можете так слепо следовать глупой моде, уродовать себя, сажая на нос велосипед!». По неведомым мне причинам Толстой с очками был не в ладах.

Через какой-то срок после этого разноса мы снова столкнулись за чашкой чая у тех общих парижских друзей, у которых и произошло наше знакомство. Я обомлел: на Толстом красовались такие массивные роговые очки, что я ему мог только позавидовать.

Но предел моему изумлению следовал погодя. Тем же сочным языком, которым он в той же компании, но на берегах другой реки, ругал большевиков, теперь он поносил тех, с которыми был в Париже неразлучен. Мол, они — все эти горе-политики, эти члены Думы и незатейливые журналисты, говорил он с убеждением, погубили Россию. Они ничего не видят, потому что не хотят видеть ее великого будущего и довольствуются подачками с «барского стола». «Они ничего не забыли и ничему не научились», назойливо повторял он фразу, которую любят приводить политические деятели, чтобы окончательно сразить своих противников.

Толстой был уже тогда редактором литературного приложения сменовеховской газеты «Накануне» и во всеуслышание заявлял, что «только твердолобые тупицы не меняют своих убеждений». «А я, — добавлял он, — устремляюсь по неизвестному морю к новой земле». Спорить с ним было до крайности трудно, потому что избитость содержания он умел облечь в такую художественную форму, что ею как бы заслонялась суть высказанного им. Недаром Сологуб как-то сказал о нем — «Алешка Толстой брюхом талантлив» и эта талантливость сказывалась и в его наивно-трафаретной диалектике.

Я теперь не помню, бывал ли я в его доме, хотя ясно перед собой вижу его белокурого Никиту, мальченку с черными как уголь глазами, необычайно живого и драчливого, которого, вызывая его недовольство, домашние звали «Шарманкиным» и его пасынка, Фефу, будущего архитектора. А где в другом месте мог я их тогда наблюдать?

Между тем встречи мои с Толстым были редкими. В кругу, в котором я вращался, охотно общались с приезжими «оттуда»,

какова бы ни была их окраска, но с некоторой опаской относились к «накануновцам», мало сочувствуя их Каноссе.

Короткое время, до того дня, как после приезда группы высланных из Советского Союза литераторов и философов это учреждение раскололось и создался обособленный «Клуб писателей», я был секретарем «Дома искусств», литературного клуба, собиравшегося раз в неделю.

В одну из пятниц, как водится, происходило очередное собрание «Дома», бывшее на редкость многолюдным. Если не ошибаюсь, наплыв публики был вызван то ли чтением Есенина, то ли кого-либо другого из советских «гастролеров». Они были тогда большой приманкой для около-литературной публики, которой «свои» уже успели приесться.

С опозданием, когда все столики уже были заняты и было даже трудно протолкнуться, появился Толстой со своей Наташей. В «Доме искусств» он был редким гостем, никаких докладов никогда не читал, чужие слушать не любил и участвовать в прениях избегал.

По обязанности я сидел у входа в зал, взимая с приходящих грошевую мзду на покрытие расходов. Толстой в этот вечер был не в меру величественен, он словно уже ощущал себя сановником и даже внешним видом старался показать исключительность своего положения.

— Ах, голуба, ради Бога, найдите графине стул, чуть картавя, обратился он ко мне, демонстративно акцентируя слово «графиня».

Непривычное в его устах титулование, да еще перед самым отъездом в Советский Союз, для которого Крандиевская придумала формулу «едем пораспинаться с Россией», настолько поразило меня, что я остолбенел. Я не сразу догадался, что это было очередным дуракавалянием, до которого Толстой был всегда весьма падок.

Стул я без труда отыскал, сделав это тем более охотно, что Крандиевская всегда была мне симпатична и я очень огорчаюсь, что потерял книжечку ее стихов «От лукавого», которую она издала в Берлине и как-то мне подарила.

«Высокомерная молодость,
Я о тебе не жалею.
Полное снега и холода,
Сердце беречь для кого?..»

«Сердце беречь для кого?». Я не знаю, что произошло под северным небом, но знаю, что вскоре произошел разрыв между такой, как издали казалось, счастливой, преуспевающей и сжившейся парой.

Но так человек устроен, что это слово «графиня», произнесенное только ради безобидного «эпатажа», до сих пор звучит в моих ушах, словно оно было произнесено не Толстым, а Германом речитативом из «Пиковой Дамы». Может быть, это объясняется тем, что после этого вечера я ни Толстого, ни Крандиевскую никогда больше не встречал.

«ПОЕЗД НА ТРЕТЬЕМ ПУТИ»

Когда я пытаюсь восстановить в памяти облик наиболее популярного из юмористов зарубежья, Дона-Аминадо, то перед моими глазами невольно воскресает одна сценка. Как-то я зашел к нему в неурочный час по какому-то «спешному» делу (какие дела не кажутся «спешными»!). Он сидел перед своим письменным столом с самопишущим пером в руке, а перед ним лежал ворох черновиков, частично скомканных. Голова его была обмотана мокрым полотенцем. Не переставая чертыхаться, он глотал какие-то аспирины. «Уже начинает темнеть и вот-вот надо мчаться в редакцию сдавать очередной фельетон, а в голову не лезут ни мысли, ни рифмы... И так каждый день... Вы, небось, думаете, что смешить читателей моими побасенками — дело ерундовое: насобачился, мол, и все само собой по щучьему велению выливается на бумагу, хоть посылай сразу в набор...».

Нет, я отнюдь так не думал. Скорее я недоумевал, что есть еще кто-то, кто способен чуть ли не ежедневно сочинять фельетоны, вызывающие смех. Пускай одни были более острыми, другие менее удачными, но все они были на литературном уровне, и автору никогда краснеть за них не приходилось.

Да что я... В оценках достоинства Аминадовой музы я был не одинок. Вот, к примеру, Горький, писавший где-то: «Дон-Аминадо — один из наиболее даровитых, уцелевших в эмиграции поэтов». А Бунин, несмотря на свою нелюбовь к писанию рецензий, в «Современных записках» напечатал своего рода «рескрипт», в котором говорил, что «Аминадо — один из самых выдающихся русских юмористов, строки которого дают художественное наслаждение».

Впрочем, эти похвалы могли быть психологически объяснимы. Более неожиданным и, может быть, для самого Аминадо

более ценным был отзыв Марины Цветаевой, посмертно опубликованный в «Новом мире». Цветаева далекая от всякой злободневности, не только неумеренно высоко ставила стихи Аминадо, которые парижские литературные круги все же считали «стишками», но писала о том, что он «поэт Божьей милостью» и заклинала его сменить писание газетных фельетонов на подлинную лирику.

Цветаева, как это ей было свойственно, отказывалась учитывать, что ежедневные фельетоны подкармливают их автора, тогда как «святое ремесло» (формула Каролины Павловой ей очень пришлась по вкусу) в условиях, в которых жил Аминадо, может быть, сулило ему лавры, но едва ли позволило бы с успехом ходить на базар. А надо признать, что Аминадо, будучи ревностным семьянином, не был равнодушен и к так называемым «благам жизни». Он любил вкусно пообедать, понимал в еде толк, не без изыска обставил свою квартиру и домик, приобретенный им в окрестностях Парижа.

Был он человеком весьма изворотливым. Поэзия — поэзией, а наряду с ней распространение нумерованных экземпляров своих книг «толстосумам», устройство творческих вечеров, к участию в которых ему всегда удавалось привлечь русские или французские «звезды» сцены или экрана. А попутно какие-то дела и работа в туристских бюро.

Но, как бы то ни было, надо признать, что фельетоны Аминадо были украшением газеты, в которой он в течение долгих лет сотрудничал, радостью ее читателей, уставших от разжевывания политической «мудрости». Его юмористические или, пожалуй, точнее — сатирические фельетоны били «не в бровь, а в глаз», но при этом, были всегда тактичны. Он способен был уколоть, но не мог ранить и никогда не переходил известных границ. Он чаще улыбался, чем смеялся и уж никогда не «гоготал».

Сквозь его юмор зачастую просвечивала горечь; вероятно, потому, что он в глубине души сознавал, что его популярность в читательской среде и расточаемые ему похвалы, какими именами они ни были подписаны, никогда не позволят ему подняться в литературной «табели о рангах». При разговорах с ним мне постоянно казалось, что несмотря на все его успехи, он ощущал некий комплекс неполноценности и, может быть, сознавал, что пошел по ложному пути.

Он хотел объять необъятное, а ведь еще Козьма Прутков

изрек, что это непосильно. Надо было сделать выбор, а на это он не мог решиться и потому под конец жизни предпочел умолкнуть.

Может быть, из-за этого он и был пессимистом и все видел в черном свете, хотя, казалось бы, его амплуа требовало, чтобы он обзавелся «розовыми очками».

В его лирике, той, которую он иногда писал не для газеты, а как бы для себя неизменно звучала какая-то тоска о прошлом, которое он отнюдь не идеализировал. Зачастую это были воспоминания о юных годах, о родной его Одессе, о привольной московской жизни:

«Забыть ли счастливейших дней ореол,
Когда мы спрягали в угаре,
Единственный в мире латинский глагол —
Amare, Amare, Amare...

....

Приходит волна и уходит волна.
А сердце все медленней бьется.
И чует, и знает, что эта весна
Уже никогда не вернется,

Что ветер, который пришел из пустынь,
Сердца приучая к смиренью,
Не только развеял сирень и латынь,
Но молодость вместе с сиренью».

Или еще. Хотел ли он того или нет, но вещие слова Экклезиаста наложили печать на его мироощущение:

«Возвращается ветер на круги своя.
Не шумят возмущенные воды.
Повторяется все, дорогая моя,
Повинуясь законам природы.
Расцветает сирень, чтоб осыпать свой цвет.
Гибнет плод, красотой отягченный.
И любимой поэт посвящает сонет,
Уже трижды другим посвященный...».

Впрочем, в придачу к круговороту событий, которым он был невольным свидетелем, проза жизни подсказала ему часто цитировавшийся афоризм: «ничего нет скучнее, чем жить в интересное время» и едкое четверостишие, озаглавленное им «Послесловие»: «Жили. Были. Ели. Пили. / Воду в ступе толокли. / Вкруг да около ходили, / Мимо главного прошли».

«Мимо главного прошли...». Эти три слова как бы отражали отношения Аминадо к современной ему истории, да и к собственной биографии. Оттого, может быть, на каких-то воображаемых весах будущего больше внимания, чего его поэтическим сборничкам с заманчивыми заглавиями будет уделено его книге воспоминаний «Поезд на третьем пути». Ведь Аминадо принадлежал к тому поколению, которое еще каким-то краешком застало еще непоколебленый девятнадцатый век, провалившийся в тартарары с войной 14-го года.

В качестве корреспондента — можно ли поверить? — он успел съездить в Астапово и присутствовал на погребении Льва Толстого, знавал жизнь русской провинции, Одессы и Киева, писал скетчи для пресловутой балиевской «Летучей мыши», посещал московские трактиры, из которых еще не успел выветриться дух Островского, в то время, как где-то, почти рядом, слышались уже надрывные и навязчивые звуки танго, впервые перешедшие русские — еще почти неохраняемые — границы.

Личный подход к описываемому, как и некоторая небрежность и отсутствие строгого плана и хронологической последовательности придает аминадовской летописи особую специфическую ценность... Становится тогда понятным, что то, что наступило после Второй мировой войны, наполнило его чувством глубокого разочарования, и его угнетало сознание, что его пессимизм был в какой-то мере оправдан. Может быть, именно поэтому он и не закончил писание своих воспоминаний и прервал почти на полпути, вместо точки поставив точку с запятой, и подчеркивая, что «соблазну продолжения есть великий противовес: не все сказать, не договорить, вовремя опустить занавес». И тут же, словно «глядя на луч пурпурного заката», он приписал:

«Буря. Дерзанья. Тревоги.
Смысла искать — не найти.
Чувство железной дороги...
Поезд на т р е т ь е м пути!».

И несомненно прав был этот «чуть-неврастеник», когда утверждал, что познать человеческую душу можно только с опозданием:

> «Чужой печали, верьте, верьте!
> Непрочно пламя в хрупком теле,
> Ведь только после нашей смерти
> Нас любят так, как мы хотели».

Его самого, однако, любили при жизни, но, может быть, любили в нем не то, что надлежало любить, и наверное не так, как он того хотел.

ПАРИЖСКИЕ ЧЕРЕПКИ

Это было так давно, настолько истерлось из памяти, что уже может казаться, что этого вообще не было. В 1912 году в Петербурге вышел небольшой сборник стихов «Скифские черепки», в основном посвященный древнему Причерноморью, некой вымышленной скифской прародине. Автором книжечки была молодая поэтесса Кузьмина-Караваева, имя которой вне очень узкого литературного круга было мало кому известно. Была она близка тогдашнему — первому, блоковскому — «Цеху поэтов», усердно посещала нескончаемые бдения на пресловутой «башне» Вячеслава Ивана и, хоть и иногда приходила в «Бродячую собаку», говорили, что под платьем она носит некое подобие вериг и правду ищет в Четьи-Минеях. А, кроме того, знали, что она дружит с Блоком и это считалось тогда своего рода литературным «патентом на благородство».

Однако, на первую книгу своей приятельницы Блок откликнулся лаконическим письмом, отвечая, что, увы, стихи ему «не понравились», но добавил, что «эти "Черепки" звучали бы иначе, если бы они не были напечатаны». Понимай, как знаешь!

Чуть позднее Блок записал, что Кузьмина-Караваева сказала ему по телефону, что «ходит в облаках». Слова эти настолько его поразили, что он не преминул занести их в свои очень интимные записные книжки.

Гумилев по отношению к молодой поэтессе был более снисходителен. На страницах «Аполлона» он процитировал ее строки: «Над далью — дерево в дыму / И призрачность морей. / Теперь я знаю, что пойму / Немую речь зверей». При этом он витиевато указывал, что эти «черепки» — «имеют много шансов слиться в цельный сосуд, хранящий драгоценное миро поэзии».

Может быть, так бы по-гумилевски и произошло, если бы

вскоре все не оказалось перевернутым вверх дном. Кузьмина-Караваева очутилась в эмиграции, осела в Париже и немного погодя приняла постриг, став матерью Марией.

Собственно, знаком я был с ней весьма шапочно, мельком встречал ее на различных литературных сборищах, на которых она частым гостем, в общем, не была, кой-когда у общих друзей. Раз-другой обменялся с ней несколькими словами, вероятно, вполне незначащими. Хоть и жили мы в одном городе, но в разных мирах. Тем не менее, мне кажется, что еще сегодня я мысленно способен восстановить ее облик, румянец ее круглого лица, тембр ее голоса, ее улыбку и добрые, добрые глаза, сквозь очки разглядывающие собеседника. Тут же в памяти воскресают обрывки фраз, которые она мне или при мне сказала. Впрочем, не поручусь: может быть, все это мне стало мерещиться после того, как в свое время я прослышал о ее «подвиге», о ее крестном пути. Может быть, при встречах я не разглядел в ней ничего особенного, если не считать ее заштопанной рясы и всего ее монашеского одеяния, которое так выделяло ее из привычной среды.

Но вот — словно это было вчера — мне отчетливо припоминается, как после одного из литературных собраний, уже где-то около выхода, когда в каком-то углу несколько человек еще задерживаются, чтобы о чем-то доспорить, разговор шел об одной из блоковских лирических драм, о той «Незнакомке», которая «благонамеренной» критикой едва ли не почиталась «декадентским сумбуром». С мало свойственной ей категоричностью мать Мария настаивала на «реализме» пьесы, для обоснования своего суждения утверждая, что ее действие развивается на Петербургской стороне, на Зелениной улице. Меня поразила точность топографии и я не удержался, чтобы не спросить мать Марию: «Да откуда вы можете это знать?». «Ведь это мне когда-то Александр Александрович объяснял», возразила она столь резким тоном, что я понял, насколько вопрос мой был бестактен. Ведь только в этот момент я вспомнил про дружбу этой монахини с Блоком, вспомнил, что она автор нескольких поэтических сборничков, а постриг приняла только за границей, хотя и здесь не была в силах превозмочь искушения писать стихи.

Да, монахиня она была особенная и совсем не такая, какими я их себе представлял. Ведь и после пострига она никогда не порывала с миром, испытывая не только к людям ее окружаю-

щим, но и к каждому встречному-поперечному какие-то материнские чувства. Вероятно, именно эти чувства и внушали ей необходимость приходить на помощь обездоленным, быть с угнетенными, с теми, кто опустился на дно, посещать больницы, трущобы, тюрьмы, хлопотать о тех соотечественниках, которые туда попали.

«О, Господи, не дай еще блуждать
Им по путям, где смерть многообразна.
Ты дал мне право — говорю как м а т ь —
И на себя приемлю их соблазны...»,

писала она.

Между тем, если судить по ее более поздним стихам, вера ее не была слепой и, следуя в этом Ивану Карамазову, она хоть и «принимала Бога прямо и просто, но этого Божьего мира принять не могла». Не зря же она молила: «Убери меня с Твоей земли / С этой пьяной, нищей и бездарной...» или едва ли не с каким-то полускрытым упреком:

«От любви и горя говорю, —
Иль пошли мне ангельские рати,
Или двери сердца затворю
Для отмеренной так скупо благодати...»

или — еще — почти на ту же тему, хоть и в несколько ином ключе:

«Не то, что мир во зле лежит, не так, —
Но он лежит в такой тоске дремучей.
Все сумерки, а не огонь и мрак.
Все дождичек, — не грозовые тучи.

За первородный грех Ты покарал
Не ранами, не гибелью, не мукой, —
Ты просто нам всю правду показал
И все пронзил тоской и скукой».

Не надо, конечно, преувеличивать объективной ценности поэтического дара матери Марии. В ее сборниках, особенно в том, который был издан посмертно, немало недоделанных

строк, вероятно, и не предназначавшихся ею для печати. Но дело отнюдь не в «качестве» ее писаний, а в том, что, как утверждал один из зарубежных критиков, «стихи матери Марии были комментарием к ее труду и подвигу». Ее смятенная душа неудержимо устремлялась к религиозной стихии и ее формальная уязвимость происходила от избытка внутренних чувств, которые не находили для своего отражения нужных слов и еще оттого, что мать Мария была не в силах преодолеть внешние покровы позднего петербургского символизма, в ядовитом воздухе которого она литературно воспитывалась.

Именно эта размолвка между стилем той далекой эпохи и своего рода псалмопением, к которому хотела устремляться ее поэтика, наложила на ее творчество особый отпечаток. Ее стихи, оказавшиеся провидческими, говорили о тех, «кто в муке шел душой свободной, как Божьей милостью пойдем мы вновь». Но, упоминая о своей «непреходящей несытости», догадывалась ли она, чего ей, собственно, недостает? Чувствовала ли она глубокую трагичность строки «И Соловки, приму я как приют»? Понимала ли она, что утвердить не только свое человеческое, но и поэтическое «я» ей придется только в последней жертве и «ходить в облаках» ей долго не будет дано или, может быть, мы неясно понимали, что она под этим пронзившим Блока восклицанием подразумевала?

Достаточно хотя бы поверхностно ознакомиться с ее последними стихами, чтобы понять, что ее мучили какие-то вопросы, на которые у нее не было приемлемого для нее ответа или, вернее, инстинктивно она об этом ответе догадывалась, но выразить его словами могла только очень приблизительно:

«Что ответим? — Что можем ответить?
Только молча мы ниц упадем
Под ударом карающей плети
Под свинцовым, смертельным дождем...».

Находясь постоянно среди сирых и бездомных, среди тех, кто не перестает шествовать «с тюками людских глухих обид», мать Мария выработала слепую готовность к отказу от себя, трудное искусство «от любимого отречься» и это и привело ее — без ропота — в ледяную пустыню одного из страшных нацистских лагерей. Можно утверждать — без тени риторики — что именно такой путь она избрала сама, хоть и писала:

«Господи, когда же выбирают муку?
Выбрала б, быть может, озеро в горах,
А не вьюгу, голод, смертную разлуку,
Вечный труд кровавый и кровавый страх».

Мать Мария погибла мученической смертью «за други своя». Подвиг ее уже неоднократно описывался и поэтому нет нужды восстанавливать сейчас те страшные данные, которыми мы располагаем. Они, мне кажется, общеизвестны.

Но вот, вскоре после конца войны друзья ее издали сборник ее стихов. По существу это были своего рода «парижские черепки», потому что от того мира, в котором проходила жизнь матери Марии, от всего, что ее окружало, едва ли что-нибудь, кроме черепков, осталось и странным образом стали какой-то перевернутой реальностью ее совсем молодые, не вполне зрелые, зеленые строки: «Смотрю, смотрю с одинокой башни. / Ах, заснуть, заснуть бы непробудно!».

Вспоминая теперь мать Марию, пытаясь напомнить о ее безвестной могиле, невольно приходят в голову тургеневские строки о другой «святой»:

«Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи... она не знала другого счастья... Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике... теперь, конечно, никто не узнает. Да и к чему? Жертва принесена — дело сделано».

Пусть же не оскорбится тень этой по-настоящему замечательной русской женщины этими малозначащими о ней строками.

«МОИХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ»

Что было особенного в поэзии Довида Кнута? Что в ней прельщает и заставляет всех знавших поэта вспоминать о нем с оттенком признательности за встречу? Что выделяло творчество этого небольшого, очень живого человека, который в дружеской компании «какие бы кошки не скребли на его душе», был всегда с виду весел и находчив, любил рассмешить каким-нибудь острым рассказом и, главное, всегда с участием протягивал руку тому, кто в его рукопожатии мог нуждаться?

От творчества его зарубежных собратьев по перу его отличала, особенно в начале его поэтического поприща, почти физическая связанность с ветхозаветной тематикой, которую он норовил перенести в сегодняшний день. Конечно, библейские темы соблазняли немало русских поэтов, но в подавляющем большинстве случаев они оставались для них экзотикой, неким возвышенным фольклором и, в первую очередь, они прельщались пряностью «Песни Песней». Между тем, для кишиневского уроженца Кнута, никогда не пересекавшего Днестра, эта, казалось бы, несуществующая атмосфера была чем-то вполне конкретным и осязаемым. Он вырос в лавке своего «ветхозаветного» отца, в специфическом воздухе «любви и тоски», был им пропитан, никогда он него не отрекался. Религиозное восприятие мира и в нем самом соединение «бедного и грубого тела» — добавлю, весьма чувственного — с «веселой душой» по особому выделяли его и, естественно, подчеркивало своеобразие его Музы.

Свой первый поэтический сборник Кнут озаглавил «Моих тысячелетий» и сколько его не убеждали, что такое заглавие не совсем понятно и вдобавок звучит не по-русски, он уперся, словно повторяя «так я стою и не могу иначе».

Но, конечно, следовало бы сразу указать, что его основная, врожденная тяга уживалась в нем с любовью и к иным пейзажам, и к другим поэтам, часто ему далеким, но к которым его притягивало некое избирательное сродство.

Нажимая педали, нередко стилизуя и утрируя свои «кровные узы», он готов был вещать, что ему видятся картины многотысячелетней давности: «Пустыни Ханаана, /Пески и финики горячей Палестины/, /Гортанный стон арабских караванов/, /Ливанский кедр и скука древних стен/, Святого Иерушалайми». Но это был отвлеченный, почти метафизический «мажор», в который поэт вкладывал свои далекие мечтания. А в то же время «человечек» отбрасывал видения и брался за одно далеко не веселое ремесло за другим, с энергией давая бой жизни. Потому, может быть, с его характером более сливался тот торжественно-замедленный тон, в котором белыми стихами он создал небольшую поэму «Кишиневские похороны», начинавшуюся лукавой памяткой о Пушкине:

«Я помню тусклый кишиневский вечер:
Мы огибали Инзовскую горку,
Где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм,
Где жил курчавый низенький чиновник —
Прославленный кутила и повеса —
С горячими арапскими глазами
На некрасивом и живом лице...».

А затем после описания ритуального шествия была приписана двустрочная концовка, столько раз цитировавшаяся и так содействовавшая популярности Кнута. Вспоминая свою кишиневскую юность, он заканчивал свою стихотворную повестушку признанием, в котором говорил про

«... Особенный еврейско-русский воздух...
Блажен, кто им когда-нибудь дышал...».

Это ощущение двусмысленного блаженства никогда Кнута не покидало — ни в поэзии, ни в жизни. Оно было в нем даже когда он с любовью глядел в сторону земли праотцев, в сторону того Израиля, которого еще не было на карте. Это ощущение, вероятно, и позволяло ему всегда черпать радость из своей сумбурной и запутанной жизни, на правах «поэтической

вольности» допуская, что он не более, чем «бессонное подлежащее, к которому сказуемого нет».

От всех этих размолвок или хотя бы полу-размолвок, за которыми следовали новые «сцепления» и происходило, что подчас его наставительная мудрость или, скорее, его стихотворные мудрствования были менее способны завладеть читателем, чем его ирония, создаваемая в гейневском ключе. Кнут способен был пророчествовать и вещать (так случилось, что ему пришлось поучать и меня, хоть и безрезультатно!), но в глубине души, наедине с собой, он отлично знал, в чем заключается двусмысленная правда жизни. Полушутливые «Диалоги» выдавали его.

«... Любовь всего дороже,
Но у меня нет денег на метро...»,

говорит его полувоображаемый собеседник. Готов ли был Кнут признать бесспорность такой обывательской истины? Несомненно, да. Слава Богу, да.

Однако, с годами шутки Кнута становились все менее острыми, прибаутки, которыми он сыпал, анекдоты, которые он рассказывал оставляли все более терпкий привкус и муза его мелела. В сборнике «Насущная любовь», из которого уже выветрился декламационный пафос, он сознавался:

«... Старею я — и легкости веселой
С которой я писал стихи когда-то
Уж нет в помине. Камня тяжелее
Мне ныне слово каждое мое».

Им словно овладело предчувствие бедствий, стоявших у его порога. Он плыл в потоке противоречий, которые ломали его жизнь и потому, как он сам сказал, теперь он только «безмолвствует, кощунствует и лжет».

В те предвоенные годы он был как бы «контужен», а ведь по существу не так уж много было ему нужно — «две капли нежности и щепотка жалости», но это именно были те капли, которые добываются с трудом и едва ли по докторскому рецепту, каков бы ни был «доктор». Когда-то один маститый критик (это был Федотов) с некоторой долей парадоксальности отмечал, что для того, чтобы обрести искомое Кнут от перепевов

«Песни Песней» должен снизойти до романса и повернуться спиной к той Музе, которая внушала ему его заносчивые строки. Другими словами, он должен забаррикадироваться лирикой и отдаться какой-нибудь нездешней страсти, но, при этом, найти не только слова, не только уметь сказать, но и уметь убедить, а

«В этом мире, где камни непрочны,
Где святые и ангелы лгут,
Я тебе обещаю бессрочный,
Нерушимый и нежный приют.

....

Все отдашь. Только память о чуде
Наших встреч — навсегда сбережешь,
Будешь помнить, как скудные будни
Озарила любовная ложь».

Пускай «ложь», но и ложь может быть спасительной, тем более, что для Кнута тогда уже прошла пора «возвышающих обманов».

Я смутно вспоминаю его «перебеги» этого периода его жизни, его шатания, не только лирические, но и жизненные, его внутреннюю неприкаянность, его поиски новой спокойной гавани, оказавшейся весьма призрачной.

Но недаром сказано, что «возвращается ветер на круги своя». В поэзии Кнута он возвращался в «стотысячный раз» и тогда рождались эти вдохновленные аллитерациями строки:

«... Возвращается с моря, с высоких вершин
Влажный вечностью веющий ветер,
Кипарисы качаются чинно в тиши,
Как свидетели горя и смерти.

Возвращается жизнь: вот Ревекка с водой
На плече... Это было — и будет.
Возвращается смерть. Но под той же звездой,
Не рабы умирают, а люди...».

Да, под конец своей жизни, вероятно, укороченной всем

пережитым, Кнут осуществил свои давние мечты и вернулся на землю своих праотцев, безошибочно зная, что на ней он, наконец, почувствует себя «человеком» и перестанет быть «рабом». Впрочем, об этом можно только догадываться, потому что:

«Бывает, что берег опаснее моря —
И гибнет на суше веселый матрос.
Бывает, что счастье наляжет, как горе,
И мокнет ночная подушка от слез.

Бывает... ах, многое в жизни бывает.
А счастье, как счастье, и плакаться грех.
Невластна над ним ерунда мировая,
Хотя и немало в нем дыр и прорех.

А счастье, как счастье. Иного не надо.
Ты рядом, и лучшего я не хочу.
Но только порою мне Божья награда
Чуть-чуть не по силам, и не по плечу».

В этих подточенных трагическим ощущением и едва ли не профетических строчках — автопортрет Кнута во весь рост. Я в них узнаю того, с кем общался когда-то в ночном Париже, затем в послевоенной, еще не оправившейся Франции, наконец, угадываю того, кто «своего» добившись, в каком-то смысле не выдержал последнего «экзамена». Божья награда оказалась ему чуть-чуть не по силам. В 1955 году, 55 лет от роду, он скончался в городе Тель-Авиве. Причин его смерти я не знаю, но мне почему-то мерещится, что ее внешние причины не вполне совпадают с внутренними, с теми, которые не в силах установить ни один врач. Ведь недаром Кнут до конца дней оставался поэтом, даже если он больше не писал.

АРИАДНА — САРА — РЕЖИН

Я теперь не могу вспомнить, как и когда я познакомился с Ариадной Скрябиной, родной дочерью композитора, некогда прогремевшего своей «Поэмой экстаза» и «Прометеем». Это несомненно было в середине двадцатых годов, потому что в моей памяти засело, что совсем незадолго перед тем она издала тоненький сборник стихов, а об этой книжечке, вскоре затерявшейся в общем потоке поэтической продукции, она затем словно забыла. Но при нашем знакомстве выход ее первой и единственной поэтической книги еще воспринимался ею, как некая веха в ее жизни. О своих стихах она толковала довольно многословно, хотя стихи были еще «зелеными», незрелыми, незапоминающимися. К концу сборничка была еще «пристегнута» то ли небольшая поэма, то ли драматическая сцена о Иисусе Навине, «что — применяя державинские слова — солнца бег останавлял». Мне казалось, что для Ариадны этот библейский рассказ воплощал какой-то эпизод из ее собственной биографии или, может быть, его символика просто пришлась ей особенно по вкусу. Не надо ухмыляться — «остановить солнце» было в каком-то смысле в ее «стиле», в ее характере, чувствовалось, что ей хочется совершить что-то из ряда вон выходящее. Но как?

А за всем тем, мне было бы трудно описать ее наружность, уж очень была она «как все» и физически мало что ее выделяло. Однако, стоило провести с ней какие-нибудь полчаса, чтобы почувствовать ее скрытую — отнюдь не женственную — динамичность, какой-то горячечный заряд, упрямство, органическую необходимость настаивать на своем, даже в пустяках. Впрочем, как было в делах серьезных, я судить не мог, знакомство наше было для этого слишком поверхностным.

Шли годы. Встречался я с Ариадной эпизодически. Она все

больше погрязала в чтение политических новостей, становившихся все более и более неприятными, и кроме их обсуждения, казалось, ничто другое ее не интересует. Стихи были прегрешениями прошлого, о своих да и о чужих говорить теперь уже не время...

Вспыхнула война, «странная война». Между тем, она не была такой уж странной в переживаниях тех, кому суждено было пройти долгий путь от предместий Реймса до окраин Монтобана. Это по прямой как-никак около тысячи километров, а если принимать в расчет зигзаги, то не знаю, сколько пришлось бы насчитать придорожных километровых столбиков. Впрочем, дело было, конечно, не в количестве пройденных километров.

Как бы там ни было, через два месяца после заключения перемирия в Ретондском лесу, вопреки всем уже опубликованным декретам, я еще не был демобилизован по превходящим причинам, о которых мне и сейчас говорить неохота. С кучкой товарищей по батальону — оставалось их, кстати сказать, немного — мы изнывали в ничегонеделании в каком-то унылом лагере, именуемом «полковым депо», где-то поблизости от Монтобана. Только после нескольких наскоков на начальство я получил разрешение на поездку в Тулузу. Там я рассчитывал встретить французских друзей и сообща сообразить, что дальше предпринимать.

Тулузы я почти не знал, но даже если бы знал, едва ли узнал бы ее. Из-за наплыва беженцев город потерял свой привычный вид. Однако, выйдя с вокзальной площади, произошло нечто, показавшееся мне тогда чудодейственным. Почти сразу меня кто-то громко окликнул по-русски. Я обернулся, сзади меня в обнимку с Ариадной Скрябиной шел поэт Кнут, добрый мой приятель. Еще будучи в Париже, я мельком что-то об их романе прослышал, но мне было невдомек, что этот роман мог быть уже официально оформлен.

Я искренне обрадовался этой неожиданной встрече еще потому, что в течение долгих месяцев никого, кроме однополчан, не встречал, а в общем, это были люди мне совсем чужие.

Кнуты сразу затащили меня в какое-то большое кафе. «Как я рад, милая Ариадна, встрече с вами обоими, об этом я и мечтать не мог...». Она насупила брови и резко оборвала меня: «Не зовите меня Ариадной, забудьте о ней. Я — Сара, так как, выйдя замуж за Кнута, перешла в иудейство». Я промолчал, толком

не зная, что ответить, и не совсем соображая, почему взрослой женщине, меняющей религию, надлежало менять свое имя и как такую перемену можно бюрократически оформить. Но Сара, так Сара...

Я проголодался и с кружкой пива заказал бутерброд с ветчиной. Сара-Ариадна посмотрела на меня злыми глазами. «Не знаю, позволительно ли вам и нам пить пиво, но это куда ни шло, а вот есть в такие дни ветчину...». Кнут заерзал на своем стуле, а я, каюсь, не сразу понял, что она, собственно, имела в виду. Но вскоре мне уже многое стало ясно. О чем бы мы ни заговаривали — об общих друзьях, о поэзии, о погоде — она с нетерпимостью неофита все сразу же сводила к еврейскому вопросу. Она, конечно, была много трезвее меня, но мне после фронта не хотелось еще смотреть правде в глаза. Я видел, что мое нежелание думать о будущем раздражает ее в такой же мере, как ее неистовость, доходящая до кликушества, раздражала меня.

Очевидно, она унаследовала от отца, как писал о нем Пастернак, «исконную русскую тягу к чрезвычайности» и заучила, что для того, чтобы быть собою, все должно себя превосходить. Она пробовала писать стихи и сама поняла, что они ей не даются; пробовала заниматься музыкой, но ей «мешала» отцовская фамилия, вторым Скрябиным в юбке ей никак не стать. Первый ее брак с французом-музыкантом был как будто неудачен. Да и мог ли он быть другим? Кто-то должен был жить под ее диктовку, Ариадна жаждала повелевать, а, собственно, достаточных данных для этого у нее не было. И вот на ее пути появился Кнут — влюбчивый поэт, талантливый и остроумный малый, в своих стихах, затрагивавших привлекавшие ее библейские темы таким тоном словно он по меньшей мере был свидетелем потопа. Я, конечно, далек от мысли, что она способна была подчинить его своим прихотям. Нет, им просто было по пути, им было почти предназначено сойтись именно потому, что они друг друга взвинчивали и друг друга своей неуемностью заражали.

Кнуты предложили вечером снова встретиться в какой-то столовке, непременно «кошерной», и продолжить беседу. Столовка, объяснили они, находится где-то на окраине города, но зато... А я вынужден был проводить ночь на грязном полу одного из вокзальных залов, отведенных для «бездомных» солдат. Каюсь, от нового свидания с Кнутами я уклонился, сам себя стараясь оправдать усталостью и дальностью расстояний, а в действительности, вероятно, нежеланием снова пререкаться с

Ариадной. Да ведь по существу и повода для этого не было — нас разделяло только то, что она на будущее смотрела во все глаза, а я тогда не был в состоянии их хотя бы приоткрыть.

Как бы то ни было, это была моя последняя с ней встреча.

Но после войны с разных сторон и, главным образом, от самого Кнута я услышал рассказ о ее злоключениях. Она оставалась в Тулузе и стала одной из Эгерий подпольной еврейской организации сопротивления, влившейся затем во «французские внутренние силы» (Ф.Ф.И.). В партизанском движении на юго-западе Франции она стала известна под конспиративной кличкой «Режин», тогда как щуплый с виду Кнут оказался слишком на виду у тех, «кому не надо». Главари сопротивленческого движения решили, что он им будет полезнее, сидя в Швейцарии и благополучно переправили его туда.

Ариадна осталась одна и с этого момента ее энергия удвоилась, удесятирилась. Может быть, в этом кроется разгадка ее необычного характера. Не зря говорится, что крайности сходятся. Если ей не удалось «повелевать», как ей мечталось, то тогда сразу же скачок в противоположность — подчиняться, подчиняться до потери своей воли, потерять свое «я». Конспирация, какая-то двойная жизнь с постоянной угрозой — днем и ночью, сегодня и завтра — стали ее привычной стихией.

Трагичнее всего, что за месяц до освобождения Франции она пала в стычке с устроившими ей подлую засаду милиционерами, то есть французами, бывшими на службе у немецкой полиции или гестапо. Пала, как «Режин», но еще до того забыв о «Саре», может быть, все-таки помня о «Ариадне».

После войны она была посмертно награждена медалью Сопротивления и военным крестом, а в Тулузе — говорят — ей воздвигли памятник.

Перед его переселением в Израиль Кнут снова стал «молодоженом» и пригласил меня, чтобы познакомить с юной женой-француженкой и преподнести большущий том своих стихов (в нем, кстати сказать, Ариадна ни прямо, ни косвенно не упоминалась). За чашкой чая я напомнил ему нашу тулузскую встречу и, не скрывая некоторого недоумения, спросил о смысле всех тогдашних его и Ариадниных замечаний. Кнут кисло улыбнулся. «Вы нас не поняли, мы вас испытывали. Дело было не в ветчине, если вы ее любите, угощайтесь — и он пододвинул тарелку с бутербродами — а в том, чтобы выяснить, созрели ли вы для вступления в нашу организацию». Я пожал плечами, такой спо-

соб вербовки меня поразил, но, кроме того, горячая лава еще только разливалась по Франции и об организованном сопротивлении еще и речи не было. «Может быть, и так, но ведь мы с Ариадной, — не без гордости добавил Кнут, — были «предсопротивлением», потому что слишком хорошо понимали, что будет следовать».

Разговор на эту тему, помнится, он тогда закончил цитатой, в которой корнелевский герой на вопрос «Что вы хотите, чтобы он сделал один против трех?», отвечает — «Чтобы он погиб, если ему на помощь не придет взрыв отчаяния».

Я низко кланяюсь памяти Ариадны Скрябиной, не раз думал о тех «взрывах отчаяния», вызываемых разнородными причинами, которым она несомненно была подвержена к концу своей жизни, и эти несколько строк преследуют одну единственную цель — напомнить о ней, как бы возложить скромный цветок на ее безвестную могилу.

ГЕРОЙ БЕЗ КАВЫЧЕК

Андрей Седых начинает одну из глав своих воспоминаний словами: «В жизни знал я только одного подлинного гения. Это был Шаляпин». Эта фраза запала в мою память, и мне хотелось бы теперь перефразировать ее и сказать: «В жизни мне удалось встретить только одного подлинного героя», если применять это слово без кавычек и без того налета скрытой иронии, которая почти неизбежно ему сопутствует. Я имею в виду Бориса Вильде, именем которого названа теперь улица в одном из пригородов Парижа.

Когда-то, в давние времена, Вильде невзначай появился в Париже, покинув одну из прибалтийских республик, откуда он был родом и где, как тогда говорили, несмотря на молодость лет, проявлял какую-то политическую активность, пришедшуюся не по вкусу местному правительству.

Он писал стихи, подписывая их псевдонимом «Дикой» — переводом немецкого слова «вильд», от которого произошло его имя. Стихи были расплывчатые и незапоминающиеся. Это было вполне естественно для начинающего поэта, но более редким явлением было то, что он сам понял, что его призвание не в поэтических упражнениях. Он был страстным спортсменом, и результаты спортивных достижений волновали его больше любых, хотя бы удачно найденных созвучий.

Вскоре он довольно регулярно стал посещать сборища той русской литературной компании, которая собиралась в одном из монпарнасских кафе. Он быстро сошелся с завсегдатаями этих полуночных собраний, его полюбили, потому что он, действительно, был во всех отношениях добряком, «рубахой-парнем», готовым услужить всякому. Вильде не был спорщиком и даже когда не соглашался с высказанным кем-либо суждением,

собственного мнения не отстаивал. Свое несогласие он умел показать без слов.

В этой богемной среде он всегда держался «сам по себе», был, так сказать, «новичком», который усвоил, что «в чужой монастырь со своим уставом не суются»!

Трудно и сейчас забыть его светло-светло-голубые, почти аквамариновые глаза, как-то впивавшиеся в собеседника и, вместе с тем, притягивающие; густые брови, торчащие по сторонам. Запомнилась его серьезность, нелюбовь к фамильярности, нежелание говорить о себе, нежелание что-либо обращать в шутку.

Как-то, почти случайно, я провел с ним целую ночь во второсортном русском ресторанчике, приманкой которого был цыганский хор, составленный из членов семьи владельца заведения. Так вышло, что Вильде был моим соседом и, будучи слегка навеселе, был менее замкнут, менее «застегнут», чем обычно. Мы проговорили до утра, и в этой угарной обстановке он стал, не давая прерывать свою льющуюся потоком речь, доказывать необходимость что-то в жизни совершить, наглядно показать, что он существует. По русскому обычаю он как бы старался «выяснить отношения» — конечно, не со мной лично, для этого мы были недостаточно знакомы — но с миром, с искусством, особенно с музыкой. Он довольно для меня неожиданно стал утверждать, что та полуфальшивая цыганщина, которая слышалась в донельзя прокуренном помещении, лишенная аполлон-григорьевского или хотя бы блоковского разгула, все-таки остается самым высоким из искусств, потому что обладает магической силой уводить от повседневности, от ее серости. Именно это и прельщает его в данный момент не меньше Мусоргского, которого он боготворил. Именно музыка, даже «такая», доказывал он, убеждает его в необходимости быть над миром, вне его. Эти слова мне особенно четко запомнились, потому что мне было неясно, какое, собственно, содержание он в них вкладывал.

Во всей его повадке, в его физическом облике, в его так мало вязавшихся с обстановкой утверждениях, нередко двусмысленных, было что-то, что могло отдаленно напоминать карамазовские страницы о «русских мальчиках», переселенных в Париж в «сомнительные» предвоенные годы.

Можно ли было по всему, что он говорил, догадаться, что увлекшись этнографией, он работает запоем целыми днями,

сдает какие-то зачеты, ездит в научные командировки, читает ученым ученые рефераты?

Кончив Сорбонну, он нашел работу в Музее человека и затем, влюбившись в дочь своего профессора и директора музея, женился на ней. Недолгий брак, как говорили, был на редкость счастливым. Да иного и нельзя было ждать от такого монолитного человека, каким был Вильде.

Довольно случайно, не помню в связи с чем, я однажды помянул его имя в разговоре с Андре Жидом. Жид встрепенулся и рассказал мне (кое-что из этого рассказа он потом занес в небольшую, посмертно изданную книгу дневниковых записей «Да будет так»), что после военного крушения Франции, когда он не видел никакого просвета и гостил у друзей в горной деревушке, лежащей высоко над Грассом, одно неожиданное посещение «как бы озарило весь его горизонт». Это был визит Бориса Вильде. При этом Жид добавлял, что едва помнит, как он с ним до того познакомился, но всем своим видом, после нескольких переброшенных фраз, он угадал, что Вильде нуждается в пристанище и — собственно, едва зная его, — предоставил в его пользование полупустую мансарду, находившуюся над его собственной квартирой. Но, признавался Жид, «раскусить» жильца было трудно, показывался он редко и всегда был не в меру сдержан. Все же, когда он признался, что ищет работу по специальности, Жид рекомендовал его профессору Ривэ, который сразу признал его работоспособность и ценность научных изысканий. Может быть, именно эта рекомендация директору Музея человека и оказалась фатальной в судьбе Вильде.

Жид затем рассказывал, что появление Вильде в далеком, почти отрезанном от мира Кабрисе и ночной разговор, который он имел с ним, показались ему настолько значительными, что он не задумываясь, разбудил жившего тут же зятя хозяйки дома — будущего деголлевского министра иностранных дел французского правительства в изгнании, рано умершего Пьера Вьено, который в те дни как раз готовился к «бегству» в Англию.

Жид оставил Вьено с глазу на глаз со своим посетителем и потом узнал, что беседа их продолжалась до самого утра и, по словам Вьено, была политически чрезвычайно важной.

Жид закончил свои воспоминания о Вильде словами о том, что все, кто только сталкивался с ним, сохранят чувство подлинного преклонения перед его памятью, не забудут его реши-

тельности, его прямолинейности и нежелания лавировать и идти на какие-либо компромиссы.

Отзвук рассказанного Андре Жидом можно, пожалуй, найти в предсмертных записях самого Вильде, которые он вел в нацистской тюрьме в ожидании рокового суда. Записи эти были переданы его жене. «Однажды над Грассом я смотрел, — записывал он, — дивную картину природы — красивые деревни с черепичными крышами в цветущих мимозах и вдали нежно-голубой залив в лучах восходящего солнца. Я говорил себе: быть может я более никогда не увижу этой красоты, но я всегда буду помнить о ней и о том, что я тогда думал. Я надеюсь, что если я буду расстрелян, то это произойдет не в погребе, а при розовом свете зари, и я знаю, что это ощущение природы по своей силе будет стоить долгих годов дальних странствий».

Предчувствия его сбылись только отчасти — едва ли была ему видна «розовая заря» — хотя в последнем письме, адресованном в день казни жене, он добавлял: «Я с улыбкой встречаю смерть, как некое новое приключение, с известным сожалением, но без раскаяния и страха». И дальше следовало несколько строчек из сочиненного им в тюрьме французского стихотворения, которые в неуклюжем переводе звучат: «Как всегда невозмутим и ненужно смел, я послужу мишенью для двенадцати немецких винтовок». «Ненужно смел»... Так ли это? Он сам писал, что «напрасных жертв не бывает», и, собственно, сам себе подписал смертный приговор, когда из так называемой «свободной зоны» Франции вернулся в Париж, чтобы своим присутствием, принимая на себя весь риск предприятия, спасти других.

Посмертно Вильде был награжден высоким орденом Сопротивления, и приказ о его награждении, подписанный генералом де Голлем, выгравирован на мраморной доске, висящей в вестибюле Музея человека. Приказ этот гласит: «Оставленный при университете выдающийся пионер науки Борис Вильде с 1940 года всецело посвятил себя делу подпольного Сопротивления. Будучи арестован чинами гестапо и приговорен к смертной казни, своим поведением во время суда и под пулями палачей показал высший пример храбрости и самоотречения».

А теперь, спустя столько беспокойных лет — я все еще с щемящим чувством продолжаю вспоминать бессонную ночь в непритязательном кабачке, когда — кажется, единственный раз в жизни — мне удалось поговорить «по душам» с моим соседом. Было бы зазорно утверждать, что я мог тогда предвидеть его

судьбу. Но, несомненно, я не мог не почувствовать в Вильде что-то трудно определимое словами, но что резко отделяло его от других, какую-то невозможность сбить его с намеченного им пути — в науке, в жизни, в любви, в ненависти, в борьбе с тем, что казалось ему воплощением высшего зла, в борьбе не словами, не сборищами, в конкретным делом. «Что-то надо в жизни совершить» — был словно лейтмотив всего того, что он говорил в ту «странную» ночь. А совершил он больше, чем сам тогда мог предполагать.

Я еще раз процитирую его собственные слова: «Пусть после окончания войны воздадут должное нашей памяти — этого будет достаточно». Поэтому мне кажется, что вспомнить о Борисе Вильде, о соучастнике его группы Сергее Левицком, о тех, кто погиб вместе с ними, долг каждого, кто их знал, независимо от каких-либо дат или годовщин, независимо от той синей дощечки, которая увековечивает его имя в одном из парижских предместий.

«НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»

Существуют различные образцы людской породы. Одни друг с другом во многом схожи, как бы вылеплены из «одного теста». Другие — в своем роде единственны, внешне и внутренне в чем-то неповторимы. Именно к этой последней категории несомненно принадлежал один из наиболее любопытных и талантливых поэтов русского зарубежья, Александр Гингер.

Чтобы поглубже окунуться в ту атмосферу, которая когда-то была для меня привычной и в которой большую роль играло его общество, чтобы мысленно восстановить его голос, свойственную ему гнусавость, особенно им подчеркиваемую, когда он читал стихи, я разложил перед собой веером четыре его стихотворных сборничка, пятый у меня не сохранился. Один из них озаглавлен «Свора верных», другой «Преданность». Заглавия подлинно многоговорящи, потому что верность, преданность, непоколебимая лояльность были наиболее характерными его чертами. Но преданность и верность чему? Той внутренней этике, которую он раз-навсегда для себя выработал, не подвергая ее никаким привходящим политическим или иным ветрам.

Да, он был верным другом, на которого при любых обстоятельствах можно было положиться. Но все же притягивало к нему не это свойство — ведь в конечном счете никто от него никаких «подвигов» не требовал и сам он писал: «я считаю, что я недостаточно смел / И что это большой грех». Дело было скорее в том, что он все принимал и понимал. С одинаковой отрешенностью, я бы даже сказал — с одинаковым любопытством наклонялся он над добром и злом, не удивляясь, ничем не возмущаясь, ни перед чем не преклоняясь. Он не знал, что такое зависть и появление всякого нового таланта или даже проблеска таланта

его искренно радовало, но его врожденная благожелательность никогда его не ослепляла, он был чужд любому проявлению маниловщины.

Гингер был некрасив, однако в лице его, в манере держаться было что-то, что делало его «общим другом». Он был на редкость умен, умен в мельчайших наблюдениях и замечаниях по любому поводу. У него было свое собственное ви́дение мира и его нелегко было в чем-то разубедить. Он был фаталистом и даже когда черные тучи сгущались над его головой, он готов был считать, что «все к лучшему в этом лучшем из миров». Может быть, его фатализм основывался на его пристрастии к азартным играм, ко всему, где приходилось вступать в единоборство с неведомыми силами или испытывать капризы «теории вероятностей». Вероятно, из всех обуревавших его страстей любовь к азартной игре была наиболее сильной, наиболее его манившей и не зря он писал:

«О только тот достоин уваженья
и между братий мужественно прав
кто лишнего не сделает движенья
отчаянную ставку проиграв...

. . . .

В делах и днях небрежно-равнодушный
я научился с молодой поры
рок низлагать покорностью послушной
и не жалеть проигранной игры».

Было в нем, конечно, немало чудаковатостей, которые в другом могли поражать и даже раздражать, но на Гингера было невозможно сердиться и в этом была его скрытая сила. Его странности были более внешними, чем внутренними и, собственно, были безобидными: то он наращивал какие-то взъерошенные баки, то появлялся в одежде альпиниста. В какой-то мере был он бессеребренником, хотя в расчетах с женой, на плечах которой лежали все материальные заботы дома, он был привередлив и требовал с нее каждую копейку, которая ему причиталась по установленной домашней конституции. Деньги ему были нужны только для того, чтобы иметь возможность обернуться, играя в покер, да еще на метро или на пачку папирос.

Зато стоило ему выиграть, как он тотчас же приобретал какие-то дорогостоющие и ненужные ему предметы, идущие вразрез со всем стилем его жизни.

Гингер был подлинным — не в переносном смысле — солнцепоклонником и едва наступала весна, он до сумерек исчезал из дому, отправлялся на какой-то пустырь и, наперекор докторским настояниям, пролеживал под солнцем, пока оно не заходило. Криком души были его строки:

«Отец мой солнце, я с тобой сегодня / лицом к лицу —
к тебе влекусь любовней и свободней / чем сын к отцу.

Зовет меня, но тщетно, воля злая / людей чужих
Им не желаю ни добра ни зла я, / не вижу их.

Звенит сирень запущенного сада, / блестит пчела
уходит прочь житейская досада, / земли дела.

Я отступлю в стремительное лето / от суеты
Пребудь со мной, родник тепла и света — / ты, отче, ты.

Любопытно, что при напечатании эти строки посвящались памяти Боратынского, но впоследствии Гингер все былые посвящения снял.

Во имя объективности следовало бы отметить, что Гингер, не будучи Обломовым, был не в меру ленив, не только в быту, но и в работе над стихами. Его поэтическое наследство количественно не очень значительно, но зато у него был свой голос, свой язык, свои специфические интонации. Ему удалось найти собственный тон, который не позволяет спутать его строки с чьими-либо другими. Многие принимали кажущуюся вымученность его стиха, затрудненность иных его оборотов за юродство, за излишнее пристрастие к словесным вывертам, к ненужным архаизмам, обвиняли в нарочитом отклонении от общепринятых поэтических норм (точно такие существуют!). Между тем, едва ли в нашем окружении был кто-либо другой, так глубоко и так по-настоящему влюбленный — другого слова не подыскать — в русский язык, так безошибочно чувствовавший вес каждого слова, так хорошо знавший не только русскую поэзию во всех ее проявлениях, но и все тонкости русского стихосложения.

Пройдя через безмерно страшную эпоху и не раз находясь у рокового порога, Гингер иногда скулил, что «некрепка моя вера

худая, маловерная вера моя», чтобы вслед за тем патетически провозглашать:

«В мире наших ужасных волнений, / в море яда, в чугунном бреду
преклоняю старинно колени, / славословлю, поклоны кладу.

Вас приветствую, слабые храмы, / сад единственный в пропасти зла —
острия католической Дамы, / православных церквей купола;

мусульманский высокий обычай: / чистым сердцем и чистой пятой...
Бейся, сердце, от разных обличий / человеческой веры святой.

О святая святых синагоги! / Если б я среди набожных рос
я бывал бы в печальном чертоге / очистительно-жалобных роз.

Нет, я вырос без церкви, без быта. / Как же стало, что с каждой весной
очевидней, сильнее открыта / глубина, ширина надо мной?

Хоть мученье, позор и увечье / на меня бы теперь низошло —
совершилось мое человечье / незаслуженное ремесло».

В этих словах о «человечьем незаслуженном ремесле» все исповедание гингеровской веры, ищущей ответа и у Будды и у католической святой малой Терезы из Лизье:

«Как жалок лепет слов твоих напрасных
в беспомощно молитвенных стихах,
как жарок ворох роз приснопасхальных
в твоих руках, в чахоточных руках!

Сюда, Тереза, умершая рано
мне смертному на помощь поспеши:
явись благоприятною охраной
в ночи, в ночи, во мгле, в глуши, в тиши».

Однако, Гингер ограждает себя от «чудес», может быть, до конца в них не веря, но...

«Каких чудес желать? Ведь их не может быть:
она уже у нас и с нами.
О том, чтоб не заснуть. О том, чтоб не забыть.
О том, чтоб не забыться снами».

Жизнь — сама по себе — уже представлялась Гингеру чудом, но едва он овдовел, как его жизнелюбие, его радость существования сразу поблекли и после рокового для него события он вскоре заболел той страшной и неизлечимой болезнью, которая до того поразила и его жену.

В те годы я бывал в Париже только наездами и в последний раз виделся с Гингером больше чем за год до его кончины. Меня ужаснуло его внутреннее состояние, он стал как бы собственной тенью, говорил почти невпопад, хотя полуделовито рассказывал, что готовит сбоничек стихов, и торопится с его набором, точно опасаясь, что не успеет увидеть его. Как трагически в его устах звучало полное предчувствий стихотворение, которое он непременно хотел прочесть мне, хотя я его хорошо знал — оно было написано задолго до того, как его болезнь стала реальностью. Правда, без этих строк, которые Гингер озаглавил «Сестра», его образ был бы неполон:

«Не говори как все: одной не миновать,
двум не бывать. Не две — неисчислимо много.
Отряд живых смертей с тобой шагает в ногу.
Забудь. Не вызывай. Страшись именовать.

. . . .

Она уже с тобой, хоть не пришла пора
тебе ее познать и с ней соединиться —
намеченная тень, враждебная близница:
болезнь предвзятая, безмолвная сестра!»

Жизнелюбец никогда не забывал о теневых сторонах нашей земной юдоли, но невеждой будет тот, кто сочтет приведенные строки упадочническими.

Последняя книжечка избранных гингеровских стихов «Сердце», в которую он включил все, что в течение его жизни шло от сердца, а не от рассудка, успела выйти за несколько дней до его смерти. Она оказалась его последним утешением, хоть он и утверждал, что за некоторые строки, вошедшие в сборник, ему уже стыдно, но исключить их он не может, так как в жизни бывают стыдные страницы, стереть которые всегда поздно.

«А когда спасения больше нет,
надо чистую рубашку надеть,
чтобы там не нашли, что в смертный час
позабыл человек чистоту».

Чистоты в свой смертный час Гингер не позабыл. Еще во дни оны он нередко говорил, что считает себя буддистом и грешным делом я всегда полагал, что в этом утверждении таится элемент позерства, одно из тех чудачеств, которых он никогда не гнушался. Между тем, он завещал похоронить себя по буддийскому ритуалу, что и было в точности выполнено его сыновьями. Церемония погребения была совершена буддийскими священнослужителями в буддийском храме.

«СЕВЕРНОЕ СЕРДЦЕ»

Существуют люди, которые причисляют себя к «неудачникам» независимо от того, как складывается их судьба. Вот именно к такой людской породе и принадлежал талантливый поэт и автор исторических повестей, Антонин Ладинский.

Он покинул Россию во время «великого исхода» с той волной остатков белых армий, которая после падения Перекопа устремилась на Запад. Заветной целью Ладинского сразу же стал Париж, но достижение этой цели тогда легко не давалось: нужен был большой запас энергии и терпения, хоть кое-какие, пускай грошевые средства и, главное, французская виза, которая мерещилась некой сказочной «палочкой-выручалочкой». Оттого-то Ладинский некоторое время должен был провести в Александрии и воспоминания об этом пропитанном историей городе нередко проскальзывали в его творчестве.

Все же все заторы Ладинский преодолел и едва владея французским языком, очутился на берегах Сены. Конечно, на первых порах его парижской жизни ему приходилось тяжко. «Хлеб насущный» надо было добывать физическим трудом и бытовые заботы нередко озлобляли былого мечтателя. Но выхода у него не было и с новой обстановкой он кое-как сжился, хоть с Парижем никогда не сроднился. Окрыляла его неизменная влюбчивость, заслонявшая тяготы повседневности, а в придачу к этому выручала литературная одаренность, которая была быстро замечена. Его «признали» и стали печатать даже те зарубежные издания, которые с известной опаской относились к новым именам.

Ладинского вскоре пригрела редакция распространенной парижской русской газеты. Он пристроился на постоянную

должность, хоть и не по журналистической части, а стал стандартистом. Это позволяло ему жить, если не вполне «припеваючи», то во всяком случае с крышей над головой. Но с той поры его любимым рефреном стали иронические слова — «Мы — телефонисты», за которыми подразумевалось «где уж нам!». О том, что та же газета печатала его стихи и однажды отправила его для серии репортажей в еще полусонную Палестину, Ладинский точно забывал. Ему было более по душе пребывать в том состоянии, которое характеризуется словами «уничижение паче гордости».

Как бы то ни было, несмотря на все стенания, Ладинский издал за рубежом пять сборников стихов (один с непрозрачно-автобиографическим заглавием «Северное сердце») и два исторических романа.

Его поэтический мир был пестр и тематически разнообразен, но любимым его фоном всегда оставались театральные декорации и балетные образы. Как для его лирики красноречивы такие строки из его «Жизели»:

«Смотрите, как она порхает
В балетной юбочке своей,
Каких на свете не бывает
В стране чепцов и бумазей.

И туфелек, таких воздушных,
Таких послушных для стихов,
Не шьет сапожник простодушный
В краю пудовых башмаков.

Не умирай, Жизель! Средь прозы
Ты покидаешь нас, любя,
Сапожник-пьяница сквозь слезы
С галерки смотрит на тебя».

Тем, кто знавал Ладинского, могло иной раз показаться странным, что его мажорная поэтика шла вразрез с его врожденным пессимизмом, с прорицаниями о близкой гибели культуры, о «закате Европы», обо всем том, что он мог вычитать у компиляторов модного в те дни Шпенглера.

Но характернее всякой напускной мудрености были такие строки из цикла прелестных стихов о свинопасе, которые мне не терпится процитировать:

«Я заблудился, я пропал
И, смутно дом припоминая,
Ищу просторы отчих зал
И призрачные пальмы рая.

Ах, я имение дотла
Развеял горсточкою пыли,
Теперь последнего осла
Заимодавцы утащили,

Теперь на дудочке простой
Симфониям изволь учиться,
Из этой хижины земной
Изволь на небеса проситься...».

И вот во втором четверостишии этого отрывка маленькое, едва приметное «ах» — своего рода нажатие педали — проливает не менее отчетливый свет на творчество Ладинского, чем его одические пристрастия, излюбленные им архаизмы, тяга к экзотике и мифологии, которые в конечном счете — только литературные приемы и вся эта многоцветность бледнеет перед воспоминаниями о далеком русском Севере, о Петербурге, поэтически ему несравненно более близком, чем александрийские пальмы или «черный воздух Шекспира». Недаром так пронзительны такие его строки, как:

«Жил Блок среди нас. На морозе
Трещали костры на углах,
И стыли хрустальные слезы
На зимних прекрасных глазах.
Жил Блок среди нас. И вздыхая,
Валился в сугроб человек,
И падал, и падал из рая
На русские домики снег...».

Но литературное призвание Ладинского не ограничивалось одной лирикой. В нем была сильна тяга к истории переходных эпох, к Риму времен упадка, к Византии и эта любовь подсказала ему романы «Пятнадцатый легион» и «Голубь над Понтом» — несколько стилизованные, чуть свыше меры декоратив-

ные фрески. В этих далеких эпохах Ладинский стремился найти черты, которые, как ему казалось, были созвучны с веяниями и настроениями нашего времени.

Наступила война. Как провел эти годы в оккупированном Париже Ладинский, я толком не знаю, меня там не было. Но потом со всех сторон я слышал, что в политическом отношении он был безупречен.

Война миновала. Ладинский, в общем сдержанный, загорелся, тлевшая в нем тоска по родине вспыхнула с новой силой. Он только и ждал возможности вернуться в родную Смоленщину, где еще жил его брат, спешил преодолеть необходимую для возвращения бюрократическую волокиту. Эта волокита была значительно ускорена вмешательством французских властей: в одно прекрасное утро Ладинский вместе с целой группой «возвращенцев» был выслан из Франции, так сказать, «по этапу».

А незадолго перед тем ему удалось осуществить давнишнюю мечту — посетить Рим, о котором он не переставал думать, читать, писать, между тем, «вечного города» воочию никогда не обозревал. Я как раз возвратился тогда из блужданий по Италии и вспоминаю, как Ладинский забежал ко мне за какими-то «свежими» туристскими справками и адресами. Я дал ему записку к одному из моих римских приятелей, который мне потом рассказывал, с каким «аппетитом», с какой жадностью и неподдельным восторгом Ладинский упивался Римом, с каким пиэтетом они вдвоем ходили по «единственной в мире» Аппиевой дороге, воздух которой, по словам Ладинского, приоткрывал ему многое из того, о чем молчат книги, чего передать не могут.

Вскоре Ладинский оказался «дома»; не знаю, нужно или нет в данном случае ставить это слово в кавычки, не знаю, как он почувствовал себя на «перекопанной» в его отсутствие земле. Стихов он больше не писал, а если и писал, то их не печатал. Появилось только несколько страниц его воспоминаний о русском Париже, о Бунине, слегка тенденциозных, но тенденциозных в меру. Собственно, ему и не приходилось «сжигать» то, чему он никогда не «поклонялся».

Перед смертью — умер он в 1961 году — успел он выпустить начатую им еще в Париже повесть о дочери Ярослава Мудрого, Анне Ярославне. Ее образ издавна его притягивал и он не раз ездил на «паломничество» в Санлис, городок, бывший резиден-

цией супруги Генриха I, французской королевы русского происхождения.

На одном из его поэтических сборничков я читаю надпись: «Имяреку с благодарностью поэта за любовь к нашим бедным стихам». О, эта неизбывная, как-никак показная скромность! Ведь о своем даре Ладинский, донельзя самолюбивый и по-стародевичьи обидчивый, был сам весьма высокого мнения и уж «бедными» свои стихи никак не считал. Но в одном он был прав: я всегда его стихи любил и теперь перечитывая их и вспоминая его долговязую фигуру, его манеру держаться, какое-то постоянное желание «сидеть на кончике стула», невольно поражаюсь, насколько его строки мало сливаются с их творцом. Впрочем — да будет это сказано в скобках — всегда ли разумно читателю близко знать поэта?

ВСПОМИНАЯ ПОПЛАВСКОГО

Когда-то, в эпоху «между двумя войнами», среди поэтов молодого поколения русского зарубежья, когда все были еще молоды, Борис Поплавский почитался одним из наиболее одаренных. На чрезмерно высокой оценке его таланта сходились такие разные, обычно противоположные в своих оценках, литературные «нотабли», как Зинаида Гиппиус и Бердяев, Ходасевич и Адамович, а Мережковский со свойственной ему склонностью к словесным гиперболам заявлял, что «если эмигрантская литература дала Поплавского, то этого одного достаточно для ее оправдания на всех будущих судилищах».

Действительно, талантливость Поплавского не вызывала сомнений и сказывалась не только в стихах, но и на всей его личности, на его особенностях. Вдобавок, надо с горечью признать, что его трагическая судьба еще более выделила его имя из той группы парижских поэтов, с которыми он делил свою нелегкую и в значительной мере запутанную жизнь. До сих пор нельзя с уверенностью сказать — повинна ли в его смерти трагическая случайность или он обдуманно пришел к решению уйти из жизни.

Трудно решить этот вопрос еще и потому, что Поплавского всегда отличало своеобразное непостоянство в мыслях и отношениях с людьми, заставлявшее его перебрасываться от одного увлечения к другому. Страсть к фантазированию, ставшая для него некой игрой, которую он сам, может быть, не замечал, потому что всякий раз верил в то, что утверждал или ниспровергал, уложняла решение загадки.

При огромной начитанности он мог иногда преподносить такие «турусы на колесах», что становилось за него неловко. Вместе с тем, в кругу, в котором он общался, не было человека

более блестящего, больше него размышлявшего не столько о литературной повседневности, сколько о религиозных и метафизических проблемах, к которым до конца своей короткой жизни он пытался подыскать свой собственный ключ.

Он был, собственно, некрасив, внешне малопривлекателен, из своеобразного кокетства (или, вернее, «анти-кокетства») постоянно носил очки с черными стеклами. Но все-таки у иных женщин пользовался успехом. Действовала его манера разговаривать, блестки его беседы, способность все схватывать налету. Хоть он и проводил долгие часы в библиотеках за чтением «умных книг», но оставался «ночным человеком», по-настоящему оживал в темноте, когда с несколькими друзьями мог просиживать долгие часы в кафе и философствовать, пока кафе не закрывалось. «Я не участвую, не существую в мире, / Живу в кафе, как пьяницы живут», писал он о себе.

Как поэт Поплавский не был переимчив и трудно определить по чьим стопам восходил он на Парнас. Вдохновляли его и символисты и сюрреалисты, но в то же время он от них отталкивался. Он как-то сразу обрел свою тональность и, если говорить о влияниях, то, вероятно, наибольшее оказали на него французы и, в частности, «гуляка и авантюрист» Рэмбо, которого Поплавский едва ли не «боготворил».

Вспоминаю, как когда-то давно он зашел ко мне домой, почему-то спрашивая моего совета, как выпустить свою первую книгу «Флаги» и тут же своим гнусавым голосом прочел раннюю «Рукопись, найденную в бутылке», из которой приведу только несколько строф:

«Мыс Доброй Надежды. Мы с доброй надеждой тебя покидали,
Но море чернело, и красный закат холодов
Стоял над кормою, где пассажиры рыдали,
И призрак Титаника нас провожал среди льдов.

. . . .

Мы погибали в таинственных южных морях,
Волны хлестали, смывая шезлонги и лодки.
Мы целовались, корабль опускался во мрак.
В трюме кричал арестант, сотрясая колодки.

. . . .

Тихо восходит на щеки последний румянец.
Невыразимо счастливыми души вернутся ко снам.
Рукопись эту в бутылке прочти, иностранец,
И позавидуй с богами и звездами нам»...

Или еще:

«Спать. Лежать, покрывшись одеялом,
Точно в теплый гроб сойти в кровать,
Слушать звон трамваев запоздалых,
Не обедать, свет не зажигать.

Видеть сны о дальнем, о грядущем.
Не будите нас, мы слишком слабы,
Задувает в поле наши души
Холод счастья, снежный ветер славы.

И никто навеки не узнает
Кто о чем писал, и что читал,
А на утро грязный снег растает
И трамвай уйдет в сияньи вдаль».

Эти трагические, одурманивающие своей музыкальностью строки казались особенно пронзительными, когда их монотонно читал сам автор, манерой чтения еще усиливая «туманность» своих образов. Он читал небрежно, читал в нос, без малейшего желания прельстить слушателя.

Но Поплавский был не только поэтом. Я даже не уверен, считал ли он поэзию главным в своем творчестве. В его наследстве два не вполне законченных, не вполне им отшлифованных романа — «Домой с небес» и другой с нарочито-контрастным заглавием «Аполлон Безобразов». В обоих заметны автобиографические реминисценции, да и сам автор признавался: «Персонажи моих двух романов я нашел в себе готовыми, ибо они суть множественные личности мои, и их борьба, борьба в моем сердце жалости и строгости, любви к жизни и любви к смерти, все они я, но кто же я подлинный?».

Эти романы, появившиеся в отрывках в различных периодических изданиях, целиком так и оставшиеся неизданными, может быть, с бóльшей ясностью показывают личность автора, чем его лирические признания, невольно «опоэтизированные».

Но совсем особо в его литературном наследстве остаются фрагменты его дневников, посмертно напечатанные его друзьями. Об этой тетради такой, казалось бы, чуждый Поплавскому философ, как Бердяев писал: «Это книга очень значительная, очень замечательная. Документ современной души, русской молодой души в эмиграции. Поплавский был настоящий страдалец, который чувствовал между собой и Богом тьму...».

Поплавский терзался сомнениями — хотел верить, но не всегда был на это способен. «Жизнь только потому и трогательна, писал он, что бессмертие души не очевидно», а рядом с нескрываемой иронией: «Время проходит, все умирает, а Н. по-прежнему ходит в котиковой шубе. Эта шуба вызов судьбе. Н. несомненно будет в аду. Но что-то в нем есть стоическое». Эта шуба была для Поплавского символом, однако, нельзя поручиться, что он подчас не завидовал ее обладателю!

Все же больше всего строк дневника посвящено религиозной проблематике, которая виделась Поплавскому соломинкой утопающего. Он все хотел что-то найти, вот-вот ему казалось, что он близок к «разгадке», но тут же эта искомая почти-разгадка словно растворялась. Тогда он поворачивал руль и заносил в свою тетрадь: «Начал немного оживать из-за спорта. Наслаждаюсь равнодушием к литературе» и несколькими днями позже: «Писать, наконец, писать без стиля, по-розановски, искать скорее приблизительного, чем точного, животно-народным, смешным языком, но писать».

И почти тут же: «Как поучительно иногда упасть. Начинаешь больше уважать и ценить солнечный путь, если видишь, что так в полнагрузки на нем не удержишься» и несколькими строками ниже: «Я по-прежнему киплю под страшным давлением, без темы, без аудитории, без жены, без страны, без друзей...».

А почти перед самой смертью (напомню, что он погиб, когда ему едва минуло 32 года и какой мог быть у него опыт?): «Я никогда не сомневался в существовании Бога, но сколько раз я сомневался в моральном характере Его любви. Тогда мир превращался в раскаленный, свинцовый день мировой воли, а доблесть в сопротивлении Богу — в остервенение стальной непоколебимой печали...».

Эти строки, взятые мной из дневников Поплавского без всякой системы, может быть, многое в его трагической судьбе освещают, проливают свет на ее драматический финал, если хотя бы на минуту поверить, что в его последний вечер, в

дрянненьком парижском отеле, он мог еще думать о Кириллове из «Бесов».

Все те, кто его знал, едва ли смогут забыть этого внешне серого «молодого человека» с большими серыми глазами, смотрящими на вас сквозь очки и, вероятно, вас не замечающими.

Мне трудно найти заключительную фразу. Вместо нее я под конец предпочитаю процитировать еще несколько строк самого Поплавского:

«В черном парке мы весну встречали,
Тихо врал копеечный смычок,
Смерть спускалась на воздушном шаре,
Трогала влюбленных за плечо.

Розов вечер, розы носит ветер.
На полях поэт рисунки чертит.
Розов вечер, розы пахнут смертью
И зеленый снег идет на ветви».

А, может быть, еще уместнее привести несколько строк из стихотворения, посвященного памяти Поплавского, его другом — другим зарубежным поэтом, Анной Присмановой:

«Ему друзьями черви были книг,
забор и звезды, пение и пена.

Любил он снежный падающий цвет,
ночное завывание парохода...
Он видел то, чего на свете нет.
Он стал добро: прими его природа...».

ВСПОМИНАЯ БОЖНЕВА

В Париже, на одной из стариннейших улочек Латинского квартала испокон веков обосновался невзрачный, грязноватый подвальчик под вывеской «Ла Болле». По не вполне ясным причинам он издавна был облюбован поэтами. По преданью его посещал Вийон. Но Вийон, один из замечательнейших французских поэтов, умер около пяти веков тому назад и проверить такое утверждение едва ли возможно. Во всяком случае, едва ли с той поры «Ла Болле» когда-либо ремонтировался! Посещал его — и это уже не подлежит сомнению — Бодлер со своей возлюбленной, прозванной «Черной Венерой», а еще на моей памяти престаренький хозяин этого заведения любил похвастать тем, что среди его завсегдатаев были Верлен и Оскар Уайльд, который в годы парижского изгнания приходил туда пить «абсент» — анисовый напиток необычайной крепости, производство которого давно во Франции запрещено.

Это самое «Ла Болле» в самом начале двадцатых годов стало местом сборищ «Палаты поэтов», вероятно, одного из первых русских зарубежных литературных содружеств. Чудаковатых русских поэтов было тогда в Париже наперечет, да и так случилось, что некоторые из них куда-то испарились или, повзрослев, совсем отошли от литературы. Только немногие из членов этой самой «Палаты» успели сказать свое слово. Одним из них был Борис Божнев, человек в чем-то примечательный, ни на кого не похожий, не без оттенка сумасшедшинки. И именно ему пришлось по душе прокуренная атмосфера древнего подвальчика, овеянного легендами.

Он, собственно, и был организатором «Палаты», ее связующим звеном, хотя, строго говоря, члены этого молодого содружества сошлись случайно и их не могла объединить ка-

кая-либо общая поэтическая идеология — объединяла их любовь к стихам.

Божнев был человек культурный и начитанный, поэтически образованный и одаренный, хотя свой талант он как-то попусту растратил. Как и на что? Ответить на этот вопрос едва ли кому-нибудь под силу, потому что Божнев своими думами ни с кем не делился, предпочитая отшучиваться парадоксами.

По странному капризу своему первому стихотворному сборнику он дал почти программное заглавие «Борьба за несуществование» и свою поэтическую карьеру начинал с блеском. Но писал он затем мало, скупо, лениво, после исчезновения Палаты на читках, устраиваемых молодыми парижскими поэтами, выступать не любил и литературной среды точно сторонился (для общения предпочитал художников). Но будучи типичным продуктом «богемы», ушедшей теперь в небытие, охотнее всего он общался с каким-то сомнительными личностями обоих полов, с которыми ему не приходилось «выяснять отношений», говорить о высоких материях или читать стихи. Он словно замыкался в своем одиночестве, намеренно его культивировал, хотя в то же время писал:

«Хорошо, что на свете есть мамы,
Братья умные, нежные сестры —
Даже самый дурной и упрямый
Любит близких любовью острой.

Хорошо, что есть кроткие дети,
Есть и девушки и подростки —
Значит мы не напрасно на свете
Доживаем до старости жесткой.

Только тем, кто страдает без друга,
Очень плохо, но слову поверьте —
Вам поможет простая услуга
Нелюбимой, но любящей смерти».

Видно, что в нем со сравнительно молодых лет жило чувство упадничества, которым он не переставал бравировать. Он был подлинно «ночным» человеком и сторонился природы. Солнечный свет, по его признанию, «вызывал в нем тошноту» или вот:

«Трава зеленая, как скука,
Однообразная навек,
Упала на землю без стука,
Подкошена, как человек.

О, верьте мне или не верьте,
Но я попятился, как ужас
Пред небом, что бледнее смерти,
И солнцем, что садится в лужах...».

Чтобы дать о поэзии Божнева еще более ясное представление, мне хотелось бы процитировать еще одно стихотворение, такое для него характерное, такое «божневское» по своему контексту, по той лирической образности, которая надоумила его посвятить один из своих сборников — казалось бы, такому от него далекому — сказочнику Андерсену:

«Ах, бабочка между домами
Летала пред моим балконом,
И я — но это между нами —
Приветствовал ее поклоном.

Мне было так темно и душно,
Что я, следя за нею взглядом,
Хотел оставить равнодушно
Балкон и полететь с ней рядом.

Пускай нас понесет ветрило,
Прохладное под облаками,
И я держался за перила
Слегка дрожащими руками.

А если не свершится чуда,
То нижние увидят ставни,
Как выбросившийся отсюда
Я камнем упаду на камни.

Но бабочка взлетела выше
На крылышках светлозеленых,
И скрылась на соседней крышей,
Не видя моего поклона».

Как можно заметить на этих случайных примерах, Божнев был в стихах изыскан, словарь его был прост, хоть и со следами архаизмов. Кое-что он заимствовал у любимого им Тютчева, кое-что — от «классической розы» Ходасевича, который, кстати сказать, его «не признавал». Но, может быть, в этой формальной вылощенности божневского стиха всегда было что-то преувеличенное, холодок, от которого отдавало бездушием, некая «алгебра», мешавшая ему улететь в поэтическое поднебесье.

Где-то Божнев писал — «А нас любви учил Овидий / И Тютчев роковой вражде». Тут он, конечно, сам себя вводил в заблуждение. Тютчев отнюдь не преподал ему «роковой вражды» с существованием, как и Овидий не научил его тому, что он готов был признавать «любовью».

Мне долго не удавалось встретиться с ним и на сохранившемся у меня экземпляре его сборничка «Фонтан» я читаю ехидную надпись — «на память о будущей встрече». Судя по дате этой надписи, фактическое знакомство произошло примерно в 28-м году, но и в дальнейшем встречи не были частыми. Однако я ясно помню некоторые разговоры, вспоминаю и его рыжеватую эспаньолку, превосходно запечатленную на его портрете, написанном в те давние времена Терешковичем, словно нарочитую небрежность его туалета. Он неизменно, говорил о своих любимых поэтах, русских и иностранных, к современникам относился сысока, с воодушевлением и знанием дела толковал о музыке и живописи. Я тогда не знал, что он мнил себя художником. Но больше всего его эрудиция сказывалась, когда он подводил разговор к тому, что принято именовать «изнанкой» Парижа. Здесь у него не было соперников!

Он преклонялся перед Рембо и, может быть, втайне хотел последовать его примеру, переселиться в экзотические страны. Это было в его стиле. Задолго до начала войны он вдруг исчез из Парижа, но вскоре выяснилось, что до Джибути Божнев не доехал, а застрял в Марселе, в котором его притягивал старый порт и окружающие его кривые закоулки. Слышал, что там он перепробовал целый ряд ремесел, чтобы что-то заработать, сошелся с какой-то непритязательной женщиной и подобно Тулуз-Лотреку проводил свои досуги в веселых домах, с обитательницами которых сдружился, находя с ними общий язык. Тогда же он начал по-серьезному заниматься живописью

и делал коллажи, которые с грехом пополам находили покупателей.

Все же после освобождения он умудрился издать несколько тетрадей метафизических стихов. По формату эти тетради походили на музыкальные ноты и печатались на какой-то серой и шершавой бумаге. Он присылал их мне, но они, к сожалению, у меня не сохранились. Теперь они представляют немалую библиографическую редкость и высоко ценятся любителями поэзии.

Дальнейшее как бы в тумане. Знаю, что какие-то верные друзья у него в Марселе были, потому что не так давно в одном из городков Прованса, в Бриньоле, была посмертно устроена ретроспективная выставка его работ, на которой были собраны его коллажи, полуабстрактные гуаши, наивные холсты. Мне удалось только ознакомиться с богато иллюстрированным каталогом этой выставки.

«Борьба за несуществование» закончилась для него трагически. Кто в этом повинен? Конечно, в первую очередь он сам. Теперь о нем вспоминают редко, хотя и сейчас у его поэзии есть поклонники. Их немного и заслужил он, конечно, лучшей участи — жизненной и литературной.

Французской литературе хорошо ведома группа поэтов, получивших прозвище «проклятых». Будь Божнев французом, он несомненно был бы причислен именно к этой группе.

ВСПОМИНАЯ КОРВИНА-ПИОТРОВСКОГО

Владимир Корвин-Пиотровский... Неужели имя его уже окончательно ушло в «таинственную сень» и забыто, как забыты имена других талантливых поэтов и писателей русского зарубежья? И, если так, то тому виной не его Муза, а это наш читательский грех, потому что он свое совершил.

Вижу его сейчас перед собой. Вижу человека невысокого роста, с довольно резкими чертами лица, но не слишком запоминающимися, словом, не слишком представительного, но зато привлекавшего к себе умными, а зачастую и острыми разговорами. К тому же, нельзя было не ценить в нем того, что он был на редкость верным товарищем, и это чувство товарищества, понятия уже почти исчезнувшего из нашего обихода, никогда его не покидало.

А в первую очередь был он и замечательным отцом; таких, как был он, было мало. Вспоминаю, как потрясло меня, когда, зайдя к нему в неурочный час, я обнаружил, что ради того, чтобы помочь сыну подготовиться к аттестату зрелости («башо»), он, хоть и не совсем в ладах с французским языком, засел за зубрежку французской школьной премудрости, вплоть до так называемой «новой математики», которая поначалу вне сомнения была ему не менее чужда, чем его Андрею.

Нельзя также не отметить, что, проживая во Франции во время последней войны, Пиотровский активно примкнул к «движению сопротивления», был арестован Гестапо и препровожден в печальной памяти лионскую тюрьму, которую тогда редко кто покидал живым. Об этом и сейчас тяжело говорить.

За всем тем была в Пиотровском забавная, хоть и вполне безобидная странность, та, что именуют «хобби». Ему почему-то доставляло необыкновенное удовольствие распространяться о

древности своего рода, недоказуемой, а, вероятно, и мифической. Что там пушкинское «шестисотлетнее дворянство»! Корвин-Пиотровский готов был уверять, что его род восходит не только к венгерской королевской династии Корвинов, но и по каким-то боковым линиям еще гораздо глубже во тьму веков — к некоему римскому консулу Метеллу Корвинусу. «Чем бы дитя ни тешилось», даже если оно вышло из детского возраста!

Упомяну только, что, когда в начале пятидесятых годов происходило чествование журнала «Новоселье», перебравшегося тогда из-за Океана на берега Сены, я выступал тогда на нем с юмористическим обзором, в котором поименно перечислял всех его главных сотрудников. В частности, говоря об одном из моих визитов к Пиотровскому, я рассказал, что на стене его кабинета якобы я лицезрел две гравюры Луки Кранаха, изображавшие наших прародителей, Адама и Еву, причем под ними красовались две металлические пластинки с надписями «Адам Корвин-Пиотровский» и «Ева Корвин-Пиотровская». Добавлю, что эта незлобивая насмешка никак нашей старой дружбы не подточила.

Но шутки прочь... Если на эмигрантском поэтическом небе Пиотровский не может быть причислен к «звездам первой величины», то все же надо объективно признать, что поэтом он был далеко незаурядным, и свой вклад в антологию русской зарубежной поэзии он внес с избытком. Не зря в Америке было выпущено посмертное издание собрания его сочинений.

Поэтическую карьеру Пиотровский (если не ошибаюсь, уроженец «кочубеевской» Белой Церкви, к которой он не раз в своих стихах взывал) начинал еще в двадцатых годах в Берлине. Там он выпустил тогда два своих первых поэтических сборничка, еще довольно незрелых, «Полынь и звезды» и «Каменная любовь», да еще небольшую книжечку игривых, псевдо-«ренессансных» рассказов, от которых впоследствии всячески открещивался. Это были «грехи молодости», не больше.

Литературную известность Пиотровский приобрел в выходом книги драматических поэм — жанра, казалось, отжившего. Книга эта, названная им по первой из поэм «Беатриче», была очень благосклонно принята критикой и, в качестве курьеза, можно отметить, что на нее в печатной форме очень сочувственно отозвался Набоков, что ему было совершенно несвойственно. После появления своей «Беатриче» Пиотров-

ский мог бы повторить слова, обращенные к другой Беатриче — «Начинается новая жизнь»!

Однако, затем наступил для него период долгого поэтического молчания. Несомненно втихомолку он продолжал работать, но своих вдохновений почему-то не печатал и воспрянул духом только после издания сборника «Воздушный змей», благодаря которому сразу же повысился в «ранге» в поэтической иерархии.

В этой книге порой ощущались интонации Ходасевича, хотя Пиотровский его не очень-то любил, но все же к нему бессознательно тянулся. Вот для примера первые строки стихотворения «Очки» (даже одно заглавие напоминает Ходасевича): «На письменном столе блистают / Очки в оправе роговой, / Там люди весело взлетают / И падают вниз головой...». Но как-никак в сборнике было и много самостоятельности и свободы, показывающей его собственное лицо и его вполне индивидуальное отношение к окружающему миру.

Характерной чертой поэзии Пиотровского, его слабостью было ее метрическое однообразие, хоть и искупаемое в какой-то мере строгостью рифм и метафор. Отсутствие задора и пренебрежение к оригинальничанию, как методу, уравновешивалось выдержанностью тематики и вкусом. Все это делало Пиотровского поэтом особого склада и его своеобразие обозначалось тем, что свои находки он умело вправлял в традиционные рамки русской поэзии.

Его любимый размер, у которого он был в плену — четырехстопный ямб, тот самый, о котором язвил Пушкин — «им пишет всякий». Однако, этот ямб, старомодный как бисерное рукоделие, Пиотровский пытался рядить в новые одежды, чтобы тем самым придать ему некую специфическую образность и некую убедительность. Пиотровский не боялся прослыть «архаистом» и остерегался приближаться к так называемой «парижской ноте». Но в то же время в его пристрастии к определенной просодии несомненно крылся вызов читателю. В достаточной мере владея поэтической техникой, он при желании мог, конечно, избежать однотонных схем.

Различные «пьесы» из «Воздушного змея» и из выпущенного им на расстоянии десяти лет сборника «Поражение» — точно звенья одной цепи, местом действия которой служит обманчиво-пестрый, ущербный мир, пребывающий в ожидании какой-то космической катастрофы. «Мы краем уха сонно

внемлем / Невнятным шумам площадным» констатирует поэт с обращенным к читателю упреком за то, что он не отдает себе отчета в том, что собственно, эти «шумы» означают.

Бытие человека отражено в лирике Пиотровского, по его словам, «законам физики назло», оно вогнуто в иное пространство. В его глазах обитатель этого мира — «падший ангел», остающийся «падшим» только из-за нежелания вознестись. Для сына земли все лишь предлог для зла, а если порой он готов решиться на мгновенные взлеты, то, подчиняясь земному притяжению, тотчас же возвращается в свой земной «ад» и только в нем чувствует себя «дома». И как для Пиотровского характерно, что он — житель этого «ада» вопрошает себя: «Не ангел ли я в самом деле / В глухом запущенном раю?... / Что, если броситься без страха / В широкое мое окно? / Что, если ангелу дано / Паденье только для размаха / Для разворота грозных крыл / Что, если падать он забыл?». Исповедь, конечно, не лишенная доли трагизма.

Можно, пожалуй, признать, что Ахиллесова пята Пиотровского в том, что «ума холодные наблюдения» он предпочитал горестным заметам сердца, которые в ущерб себе таил про себя.

Чтобы более наглядно обрисовать поэтический путь, пройденный Пиотровским, хотелось бы еще процитировать отрывок из его поэмы «Поражение», давшей заглавие его последнему сборнику и так отчетливо отражающее его настроенность:

«Мы умирали, не старея,
На европейских мостовых,
В лазурной гавани Пирея,
В парижских улочках кривых.
И лежа на спине глядели,
Не отводя хрустальных глаз,
Как звезды синие редели,
Как догорал зеленый газ.
Мы дружбу с небом заводили,
Чтоб быть подальше от земли,
Мы уходили, уходили,
И кажется уже пришли...».

Однако, несмотря на его прирожденный пессимизм, Пиот-

ровского нельзя причислять к поэтам, у которых превалирует чувство упадничества. Оно у него скорее литературный прием, чем моральное «кредо». Внутренне он всегда был очень живым и житейски приспособленным человеком, редко бывал «тепел» — в поэзии, в жизни, в спорах, в быту. Он мог быть сух и даже заносчив, но иной раз обжигал своей горячностью, упорством убедить оппоненнта в правильности своих воззрений, которые кстати сказать, не всегда бывали устойчивыми. Некоторыми это свойство может быть принято как слабость или как избыток упрямства, но, может быть, именно эта его «поэтическая вольность» и питала его вдохновения.

«ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА» И ЕЕ ГЕРОЙ

Поклонники Осипа Мандельштама, одного из наиболее выдающихся русских поэтов нашего века, несомненно знакомы не только с его поэзией, но и с его «Египетской маркой», жанр которой трудно определим — повесть не повесть, а скорее впечатления и размышления, лишенные твердого костяка и изобилующие всяческими, иногда вполне неожиданными отступлениями. Может быть, создавая эту вещь, автор «Тристий» и сам не отдавал себе отчета, что он, подобно мольеровскому господину Журдену, сочиняет «прозу»!

В «Египетской марке», пожалуй, одном из первых русских опытов сюрреалистической, а отчасти и «кафковской» прозы все двоится, все как бы пошатывается. Герой ее — некий Парнок отчасти автопортретен (хотя тут же вставлено моление — «Господи, не сделай меня похожим на Парнока»), отчасти это авторский двойник и вполне очевидно, что Мандельштам умышленно отказывается от какой-либо конкретной портретности. Но он все же неспособен скрыть, что его Парнок, если это не он сам и не его духовный брат, то он сродни тому щемящему музыканту «Александру Герцовичу», который в одном из поздних стихотворений Мандельштама попеременно становится Александром Сердцевичем и Александром Скерцевичем, чтобы закончить поистине трагической кодой — «чего там, все равно...».

Как бы то ни было, выбор Мандельштамом для своего героя весьма причудливой фамилии породил гипотезу (в частности, пущенную в научный обиход ученейшим Глебом Струве, а затем и американским исследователем поэзии Мандельштама Кларенсом Брауном, опиравшимся на анонимные и не вполне достоверные источники), что прототипом Парнока по-

служил поэт Валентин Парнах, подписывающийся иногда Парнак или даже Парнок.

Этого Парнаха в самом начале двадцатых годов, на самой заре эмиграции, я не раз встречал в Париже. Вместе с Божневым и Гингером он был одним из столпов «Палаты поэтом», вероятно, первого зарубежного содружества, созданного в те дни, когда русских поэтов в Париже можно было перечислить по пальцам. Впрочем, у Парнаха перед его коллегами было одно преимущество — он был, кажется, единственным, имевшим в своем багаже уже несколько поэтических сборничков — «Словодвиг», «Самум», к которым чуть позже прибавился «Карабкается акробат». Чтобы дать хотя бы намек на его поэзию, приведу несколько его строк:

«Вот ночью черной и веселой
На вековом молу
Она стоит перед гондолой
Чтоб долго плыть во мглу.

Венеция и бред Востока
И музык древний час
Исторгли жадно и жестоко
Мой стон по вас».

«Венеция и бред Востока» — это всегда ему мерещилось. Стоит попутно отметить, что большинство дат, проставленных под стихами Парнаха, предшествуют зловещему 914-му году, а места написания уж совсем необычны — сирийский Баальбек, Палермо, Лондон, Балаклава.

Физический облик поэта трудно забываем: безвозрастный человек выделялся тем, что казалось, будто его большая голова покоится на шарнирах и может вращаться вокруг его хрупкого туловища. Пикассо, рисовавший иногда в манере Энгра, необычайно точно передал эту особенность на рисунке, воспроизведенном в одной из книг Парнаха. Пикассо метко схватил привычный жест своей модели — как-то резко, почти вызывающе откидывать голову назад.

Как Парнах существовал, мне не известно, по его рассказам знаю только, что он очутился за границей еще до первой войны, какое-то время странствовал по Испании, затем обосновался (не знаю, приложим ли к нему этот глагол) в Париже и

стал завсегдатаем ателье, вернее, «лавки древностей» Ларионова и Гончаровой, которые несомненно приходили ему на помощь. Парнах был тонким знатоком не только современной, но и классической литературы, общался с Аполлинером и Максом Жакобом, но все же больше всего интересовался джазом, мюзик-холлом и цирком.

Когда в предвоенные годы Мандельштам посетил Париж и слушал лекции в Сорбонне, он не только познакомился с Парнахом, но и сошелся с ним. В 914-м году, вспоминая эту встречу, Парнах посвятил Мандельштаму стихотворение «Ресторан» (надо сказть, что рестораны, кафешантаны и кабаки с «апашами для туристов» были любимыми его темами):

«И дикой музыки поклонники,
Под оглушительным дождем,
»Мы стука струн, потуг гармоники,
Как заколдованные, ждем!

И если душу успокоит
Мне запах розы, стих, роман —
Все язвы, все смятенье вскроет
Многоязычный ресторан!».

Видимо поэзия давалась Парнаху с трудом и не зря он восклицал — «Поэзия, твой беспощадный ад». Успокоения она ему не давала, писал он мучительно, удовлетворен своими писаниями никогда не был, но отрешиться от этой «отравы» так и не сумел.

В связи с Парнахом вспоминается одно курьезное происшествие, хоть и очень личного характера. Это произошло уже в Берлине, накануне его отъезда в Советский Союз. Он попросил меня одолжить ему какую-то, якобы, очень ему нужную книгу, для меня очень ценную. Я согласился нехотя. Затем полуслучайно я встретил его на каком-то литературном сборище, куда он «забежал», чтобы со всеми сразу попрощаться. «Не беспокойтесь, — сказал он, увидев меня, — вашу книгу я оставил на ваше имя в пансионе, в котором я жил, а он от вас в двух шагах». На следующее утро я помчался по указанному адресу. Встретил меня приземистый хозяин далеко не дружелюбно, повел за собой в какую-то комнату и запер за собой дверь на ключ. «Ага, — набросился он на меня чуть не с кулаками, — вы

пришли, чтобы вытащить еще какое-то добро моего жильца, который улепетнул, забыв со мной расчитаться. Если вы мне не укажете, как его найти, я тотчас вызываю полицию». Мне стоило немалых трудов убедить разъяренного немца, что я в каком-то смысле «жертва» Парнаха и он к тому же сообразил, что книга с какой-то замысловатой дарственной надписью не представляет для него интереса. Он сдался на мои доводы и я кое-как «схватив в охапку кушак и шапку» — с моей книгой подмышкой — бежал из злополучного пансиона.

Парнах возвратился в Советский Союз, по его словам, для пропаганды джаза, который в Москве тогда был еще невидалью. Удалась ли ему карьера эстрадного эксцентрика, о которой он мечтал, мне неизвестно. Знаю только, что в конце 20-х годов в еще не вполне скомпрометированном покровительством Каменева издательстве «Академиа» вышел переведенный им им с испанского томик стихов под заманчивым заглавием «Поэты — жертвы инквизиции». Знаю еще, что несколькими годами позже он временно появился на берегах Сены, опубликовал кое-какие статьи во французских журналах, а когда Мейерхольд приехал показывать Парижу своего «Ревизора», Парнаха ежевечерне можно было видеть в фойе театра — его присутствие не вызывалось причастностью к мейерхольдовской труппе, а ухаживанием за одной из ее участниц. (Недаром Мандельштам писал, что его Парнок был «жертвой заранее созданных концепций о том, как должен протекать роман»!). Слышал также, что в одном почтенном еврейско-американском толстом журнале тогда же появилась статья Парнаха о роли евреев в русской литературе. Можно только удивляться, что после такого длинного списка «прегрешений», вернушись в Москву, он прожил там все черные годы «безболезненно».

А что дальше? Во время Второй мировой войны он был еще жив. Последнее, что я о нем читал — упоминание в воспоминаниях драматурга Александра Гладкова (не смешивать с Гладковым «цементным»), который встречал Парнаха в 41-м году в Чистополе, куда была эвакуирована большая группа московских литераторов. «В прошлом танцор и музыкант, писал Гладков, Парнах, похожий в своей видавшей виды заграничной шляпе на большого попугая, за пару мисок пустых щей следил в столовке Литфонда за тем, чтобы входящие плотно

закрывали двери, сидел в ней с утра до часа, когда столовка закрывалась, с застывшим лицо, с поднятым воротником, ни с кем не разговаривая». Он был подлинно из тех, кого, по слову Мандельштама, — «недолюбливают дети и кто не нравится женщинам». «Бедный Иорик»!

Я начал с «Египетской марки» с созвучности необычных имен поэта-неудачника и героя мандельштамовского отрывка. О Мандельштаме кто-то уже сказал, что он «с умыслом именует вещи невпопад». «Невпопад», вероятно, не совсем подходящее здесь слово, потому что, воскрешая забытое имя, какая-то затаенная мысль, возможно, у Мандельштама была; кстати сказать, те, которые видели его в молодые годы, говорили о каком-то ощутимом физическом сходстве между обоими, например, о характерном для обоих откидывании головы назад. Но этого, казалось бы, недостаточно, чтобы отождествлять Парнаха с Парноком, — «человеком Каменностровского проспекта» (старые петербуржцы знают, что тут имелось в виду), проводившем «лето Керенского и его лимонадного правительства» в Петербурге (Парнах тогда спокойно гулял по Парижу). А уж совсем трудно вообразить Парнаха, «щеголяющего овечьими копытцами лакированных туфель», еще меньше в той «визитке», которая имелась в гардеробе Парнока и играла большую роль в самой «Египетской марке».

А все же. Какое-то сомнение или тень сомнения невольно рождается, хоть между Парноком и Парнахом нет ни литературного, ни, главное, духовного сходства. Ведь все-таки, может быть, Мандельштам вспомнил о своем парижском собутыльнике (может быть, он в те годы встречал его и в Москве) и как-то очень по-своему свой рассказ транспонировал, чтобы «замести следы» и тем Парнаха увековечить. Бывают случаи, когда заманчиво не ставить никаких точек над «i».

ПОВЕСТЬ О «ПОГАШЕННОЙ» ЛУНЕ

«В таком-то году незаконно репрессирован», в иных случаях добавлено «в таком-то реабилитирован». Такая канцелярская отписка не раз мелькает на страницах советской «Литературной энциклопедии» в конце различных обзоров или предисловий к посмертным изданиям. Очевидно надлежит считать, что этих нескольких безличных слов достаточно, чтобы уравновесить трагичность чьей-то судьбы: «реабилитирован» — чего же больше, на что еще надеяться после забытья стольких лет?

А ведь было время, когда популярность этих самых репрессированных писателей не переставала возрастать. Стоит только вспомнить, для примера, о том, каким престижем в двадцатые годы пользовался Борис Пильняк, автор «Голого года» и «Былья», каким «мэтром» он тогда расхаживал по улицам своей подмосковной Коломны-на-Посадьях и как каждая новая его книга почиталась чуть ли не литературным событием. По мнению большинства советской критики, именно его проза с ее мудреными стилистическими завитками, как нельзя лучше, отражала «ветер революции», ее музыку.

Дни шли за днями, успех за успехом. Между тем, издалека, из своей сааровской обители на время «эмигрировавший» Горький, который далеко не всегда бывал «добрым папашей» и частенько менял свои критические суждения, стал резко отрицательно относиться к творчеству Пильняка, которое поначалу он, по собственному признанию, «весьма похваливал». Вслед за недавними восторгами Горький провозгласил, что Пильняк «характерен для современной русской литературы только как явление болезненное, как неудачный подражатель Ремизова и Белого», а самому Пильняку указывал, что «путь, которым вы

идете, опасный путь, он может привести вас к клоунаде... Вас хвалят? Это ничего не значит... Опасаюсь, что вы утопите ваш талант в мутном щегольстве словами, изломаете фокусами...».

Тон был дан и было закономерно, что после таких антипильняковских выпадов советская критика в свою очередь должна была на Пильняка обрушиться. Неожиданно было замечено, что в произведениях этого как-никак небесталанного «попутчика» (слово это только начинало входить в обиход) заметна тяга к нигилизму и он склонен поэтизировать стихийный разгул революции, проходя — страшно подумать! — мимо ее социального содержания.

Тучи над головой Пильняка постепенно сгущались. Уважительным предлогом послужило, между прочим, то, что непришедшаяся по вкусу московским «вершителям судеб» повесть Пильняка «Красное дерево» была издана за границей. Следует подчеркнуть, что в ту «идиллическую» пору заграничные издания советских авторов, необходимые для ограждения их авторских прав, были вполне обычным явлением и власти этому никак не препятствовали. Между тем, на сей раз, как указывает «Литературная энциклопедия», издание пильняковской книги за рубежом, якобы, «вызвало всеобщее возмущение советской общественности». Видно этой «общественности» свойственны известные зигзаги...

Однако, Пильняк, занимавший тогда пост председателя Союза писателей (еще не «ССП»), не внял этим острасткам. Хуже того, и это только показывает его легкомыслие или, может быть, уверенность в том, что его имя и его связи (Надежда Мандельштам, на слова которой можно вполне положиться, в своих «Воспоминаниях» рассказывает, что, встретившись случайно в сухумском «Доме отдыха» с женой Ежова, та ее спросила: «К нам ходит Пильняк, а к кому ходите вы?») застраховывают его от неприятных последствий, выпустил «Повесть о непогашенной луне».

В повести описывалось, как некого здорового командарма Гаврилова принудили лечь на операционный стол и как чрезмерная доля наркотиков прикончила его. Так как повесть эта появилась вскоре после смерти Фрунзе, когда слухи о его предумышленной гибели циркулировали по Советскому Союзу, ничего не стоило делать «неуместные» сопоставления. Можно ли было простить Пильняку такой вызывающий шаг? А заодно можно ли было простить Воронскому (вскоре «репрессирован-

ному») напечатание такого «провокационного» произведения в номере «Нового мира», который выходил под его редакцией и был сразу же конфискован?

Пильняк, конечно, почувствовал, что накуролесил и, чтобы обеспечить себе отступление, засел за писание скучнейшего романа «Волга впадает в Каспийское море», создаваемого по всем канонам соцреализма, не без прославления кое-кого. Недаром «Волга впадает в Каспийское море», а «лошади кушают овес и сено» — от трафарета не отойти.

Но все это уже не помогло, как не помогли и чаи у мадам Ежовой. Пильняку пристегнули какие-то связи с японской разведкой (почему японской? не все ли равно какой) и вывели в расход. Книги его, конечно, сразу же исчезли.

А ведь вот — в начале своей литературной карьеры и это было, кажется, первым из его многочисленных заграничных путешествий, Пильняк в 1922 году вместе с «серапионом» Никитиным приезжал в Берлин. В тамошних русских литературных кругах он был принят с распростертыми объятиями, и ему был оказан тем более радушный прием, что он был одним из первых писателей с именем, приехавшим «оттуда».

К тому же Пильняк был подлинно «рубахой-парнем». Он усердно посещал всевозможные эмигрантские сборища, легко со всеми сходился, каждому успел сказать что-то приятное без того, чтобы его слова звучали фальшиво, со многими выпивал, многих и угощал, был жизнерадостен и самоуверен без зазнайства, отчасти безответственен, считая, что с него «взятки гладки». А главной целью его приезда было переиздать или даже продать «на корню» свои книги. При этом он не считался с этикеткой издательства. А их было тогда в Берлине около 30 — правых, левых, нейтральных — и от каждого, что звучит почти неправдоподобно, — можно было вытащить небольшой аванец.

Тогда же мне случилось написать в одной из русских газет рецензию на какую-то из пильняковских беспозвоночных книг и, насколько помнится, рецензия была кисловатой. И тогда и теперь от его прозы меня отталкивает обилие ненужных неологизмов и диалектизмов, которые мало что дают и кажутся отягощающим привеском. Пильняк по-своему заимствовал ряд оборотов у Ремизова и внешне усвоил построения беловской прозы, тогда как ее внутренние импульсы были ему чужды.

Впрочем, надо отдать ему справедливость — отсутствие

восторженных «ахов» и «охов» в моей рецензии отнюдь не отразилось на наших личных отношениях. Мы продолжали встречаться, выпивать (Пильняк очень полюбил немецкое пиво), а когда вскоре он уехал в Лондон собирать материал для книги об английском быте (ему на это было уделено не больше двух недель!), он оттуда писал мне:

«Просьбишка у меня к вам и по доброте вашей можно с ней обратиться. Гессен (в скобках напомню, что Гессен, бывший редактор петербургской «Речи», стоял тогда во главе весьма непримиримой берлинской газеты «Руль» и издательства «Слово») купил у меня «Третью столицу», кою обругали вы — и не печатает. Говорят, что Гессен послал мне письмо, но я его не получил. Позвоните Гессену, пусть он через вас мне ответит».

Следующее письмо было уже с теплохода «Красин», на казенном бланке, сверху которого Пильняк красной лентой настукал: «Не пугайтесь: это только бланк корабля, на котором мы идем из Кардифа домой». А дальше он писал: «Я перед вами виноват, не ответив вам из Лондона, а письмо ваше на дне чемодана, не найти теперь и не помню точно, о каких задержках с «Третьей столицей» вы писали. Пожалуйста, уж как найдете нужным, сделайте с ней и напишите мне... И это все о делах. Гессена убедите ответить окончательно: я ведь связан с ним договором, который был бы рад разорвать... Никогда мои симпатии и несимпатии не определялись хорошими или плохими статьями обо мне: я ведь знаю, что, как я, Достоевский, Осип Волжанин — московский образец круглой бездари, мы все одинаково можем дать только то, что отпущено, и не можем не дать, так что уж из того, что будут писать. Пожалеть нас надо, маньячишек. А кроме того, для меня лично ясно, что каждый прав, меня ругая, ибо сам я большой свой ругатель... А утро сегодня необыкновенное. Все уже сказано красной лентой наверху. Море, корабль и через неделю качек, восходов, закатов, неба, воды и безбрежности — Санктпитербурх, Россия, чертовщина, чертопхайство, колывань, мещера. Россия трудная страна: живешь в ней и идешь (на кораблях ведь «ходят») сплошною страстною пятницей... Прощайте. Напишите. Пильняк».

Переписка наша на этом оборвалась, и больше мне не пришлось его встречать. Он как-то приезжал в Париж, но повидаться с ним мне не случилось. Я тем более рад, что несколько его писем у меня уцелело. А потом, узнав о постигшей его участи, я неоднократно вспоминал последнюю фразу последнего его

письма, в значительной мере пророческую. «Страстная пятница» настигла его примерно через 15 лет после написания этого письма, но в таком страшном обличье, которое он, упорно ставивший девизом своей жизни — «скорее к неизведанному завтра», никак не мог предвидеть. Расправились с ним много проще, чем с вымышленным им командармом Гавриловым, героем его «Повести о непогашенной луне».

БЕНЯ КРИК И ЕГО ПАПА

Я жил тогда в Нейи, в квартире моего деда. Как-то раз, услышав звонок, я пошел открывать входные двери. Передо мной стоял невысокого роста незнакомый человек, весьма коренастый, с поразившими меня непомерно большими очками.

— Будем знакомы, — сказал он, протягивая руку. — Меня зовут Бабель.

Я слегка опешил. Неожиданность визита смутила меня и мой посетитель, очевидно почувствовав мое недоумение, продолжал:

— Я, собственно, по маленькому делу. Один из наших общих друзей — он назвал имя одного издателя — дал мне ваш адрес и сказал, что за известную мзду вы согласитесь уступить мне вашу пишущую машинку с русским шрифтом. А мне она нужна до зарезу...

Всю эту тираду он произнес скороговоркой, но жестами так картинно представил, насколько моя машинка была ему необходима, что мне стало почти не по себе, когда я был вынужден разочаровать его и объяснить, что он опоздал, так как ремингтона у меня больше не было.

— Все же входите, — пригласил я нежданного гостя и провел его в мою комнату. Он сразу же устремился к книжным полкам, а доставить мне бóльшего удовольствия он не мог.

— О, у вас тут несколько томиков несравненного «конаровского» Мопассана и, Бог мой, даже Валери, — воскликнул он. — Вы взаправду любите Мопассана? Тогда мы, вероятно, будем друзьями. Вы и Валери любите? А дадите мне одну из его книжек? Я никак не могу их достать. Ей-же-ей, — добавил он, заметив, что я невольно сделал довольно кислую гримасу (книги Ва-

лери были тогда находимы с трудом), вашу книжицу я верну вам по прочтении, — он лукаво улыбнулся, — или чуть погодя!

Об увлечении Бабеля Мопассаном, которого он как бы считал своим учителем, мне было известно, но его глубокий интерес к такому изысканному и замысловатому поэту, как Поль Валери, поразил меня. В моем представлении одно не уживалось с другим — или «Юная парка» или одесский бандит и мечтатель Беня Крик, жесткий реализм военных рассказов и все то, что понаслышке я мог о биографии Бабеля знать. Ведь только сравнительно совсем недавно я мог обнаружить, что в одном из своих посмертно опубликованных писем, говоря о Валери, Бабель писал, что «это — поэт изумительный».

Было для меня не меньшей неожиданностью, насколько этот прирожденный одессит свободно и литературно изъяснялся по-французски и не в пример большинству русских парижан почти без акцента. Мог ли я до этой встречи знать, что французскому языку его обучал на школьной скамье обладавший литературным дарованием и очевидно талантливый педагог, некий «мусью» Вадон, о котором он охотно стал вспоминать и тут же с большим юмором поведал мне, что первые свои — весьма неудачные — рассказы он в пятнадцатилетнем возрасте сочинял по-французски.

Признаюсь, что я был озадачен. Неужели передо мной сидел автор «Конармии» и отец незабываемого Бени Крика, человечек, который по совету Горького на семь лет «ушел в люди» и за эти годы учебы (еще в Первую мировую войну) успел быть солдатом на румынском фронте, затем переводчиком в Чека, участником продовольственных экспедиций 18-го года, умудрился воевать против Юденича в северной армии, против поляков в первой конной, работал в одесском Губкоме — всего не перечислить. Все это так мало вязалось с его внешним обликом, с его ласковой вежливостью, подчас даже с некоторой манерностью, с его искренней восторженностью перед наиболее утонченными плодами французской культуры, с его преклонением перед импрессионистами, пестрота которых, как он утверждал, действует на него «успокаивающе».

Слово за словом — от импрессионистов, от изъявления восторга перед Боннаром и Вюйяром, он незаметно перескочил к описанию старой Одессы, которую, как все одесситы, любил с

какой-то преувеличенной нежностью. Он рассказывал о ней с таким смаком, что я, никогда не побывав в этом «нездешнем» городе, видел перед собой его улицы, чуть ли не «утопающие» в акациях и сирени, слышал несущиеся из порта гудки пароходов, открывал смысл чуждых мне названий — Молдаванка, Пересыпь, Фонтаны, кафе Робина и Фанкони.

— Ну, мне пора, — прервал он свой рассказ. — Мне так досадно, что нашей сделке не суждено было осуществиться. Но что поделать? У меня свидание на Монпарнассе, а это от вас далеко, я побегу...

Однако на Монпарнасс отправились мы вдвоем и о чем шел дальнейший разговор я, конечно, не упомнил. Но зато потом в монпарнасских кафе, куда Бабель, как все мы, грешные, частенько забегал, когда бывал в Париже (жил он где-то за городом, отдельно от жены и дочери, у какой-то лютой квартирохозяйки, в полном одиночестве, чтобы никто не мешал работе), мне довелось не раз с ним беседовать, а еще того чаще обмениваться полными смысла междометиями!

Иногда — еще не поздоровавшись — он начинал жаловаться на то, что у него ничего с писанием не выходит, что то, что он уже «намарал» (это его выражение!), его не удовлетворяет, что ему никак не удается расставить слова в том порядке, который отражал бы тональность его мысли. «А ведь это — главное, говорил он. Главное отнюдь не писание, а правка, шлифовка, переделка. Только это доставляет подлинную радость». Он не скрывал, что писание было для него делом нелегким и, исписывая десятки и сотни страниц, сам себя именовал «великим мастером молчания».

Впрочем, иной раз, издали заметив меня, он с торжествующим тоном как бы бросал через головы кофейных завсегдатаев: «Знаете, вышло, одолел-таки!». Над чем он работал он толком не говорил, но по некоторым недосказанностям можно было понять, что он засел за большой роман, за свой первый роман.

Все же охотнее всего Бабель говорил не о себе и даже не о текущей литературе, а о своих «внелитературных» встречах и похождениях, о выставках и бегах (очень лошадьми увлекался), делая исключение только для своего подлинного кумира — Мопассана, которого он наделял всеми качествами и ужасный конец которого не переставал оплакивать так, как можно только оплакивать конец очень близкого человека.

Кстати, одна из наиболее для него характерных новелл, не

лишенная, как это у него часто бывает, автобиографичности так и озаглавлена «Гюи де Мопассан». Напомню, что в ней Бабель рассказывает, как, будучи в несносном материальном положении, он помогал одной богатой дилетантке переводить своего любимого автора и как в результате этой совместной работы создалась ситуация совершенно в мопассановском стиле. «Вы — забавный», воскликнула под занавес горе-переводчица. Она была права: Бабель, действительно, был во многом «забавен», неизменно весел, сам смешлив и любил смешить и балагурить, нередко с самым серьезным видом разыгрывал своего собеседника и так убедительно рассказывал, что Рубенс стоял у изголовья умирающего Спинозы и затем снимал маску с мертвеца, что ему невозможно было не поверить.

В своем очерке «Путешествие во Францию», в котором Бабель подводил итоги своего пребывания в Париже и Марселе, который был ему особенно мил тем, что напоминал Одессу, он недоумевал по поводу того, что там, где висят таблички с надписью «не ходить» — ходят, где написано «не курить» — курят. А затем сам себя спрашивал: «Неужели этот легкий и неуважительный народ создал искусство, недосягаемое по красоте, простоте и легкости?» и тут же добавлял: «Нужен срок, чтобы почувствовать, в чем прелесть и тайна Парижа, его народа, его прекрасной страны, разделанной с тщательностью, любовью и вкусом».

Как бы там ни было, в последний свой приезд в Париж он был явно растерян и чем-то подавлен. Это был уже не тот Бабель, в разговоре с которым шутки рождались сами собой. Были ли у него основания для мрачных предчувствий, знал ли он, что на него уже нацелен подлый донос — кто может на это ответить?

Но теперь, спустя столько лет, вспоминая его, вспоминая мои монпарнасские встречи, вспоминая его трагическую судьбу, мне невольно приходят в голову те слова, которые он вложил в уста старьевщика Гедали, владельца житомирской «лавки древностей», описанной в его «Конармии»: «Революция — скажем ей «да» — разве субботе можно сказать «нет»... «Да», кричу я революции, «да» кричу я ей, но она прячется и высылает вперед только стрельбу... Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди... Кто же скажет, где революция и где контрреволюция... Я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, что-

бы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие...». Эти слова Гедали, если таковой действительно существовал, Бабель как бы взял своим девизом, дополняя их в пьесе «Закат», в которой еще раз выведен «знаменитый» Беня Крик, ремаркой одного из действующих лиц: «Угореть от утюга может всякий, но быть хорошим человеком — это не всякий может». Это не всякий может, но Бабель, кажется, смог. Вероятно, именно эта его черта и погубила в зловещие сталинские годы одного из наиболее выдающихся советских писателей.

«РУССКИЙ ГОФМАНИАНЕЦ»

Чаянов, Александр Васильевич... Чуть ли не полвека ни в одной из советских энциклопедий, ни в одном из справочников не было упоминаний этого имени. Между тем собрание его научных трудов переиздается теперь в Соединенных Штатах и, кажется, включает намеренно забытое «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», наделавшее при появлении много шума и раздразнившее власть имущих.

Чаянов — агроном по образованию и теоретик кооперации — в двадцатых годах был одним из наиболее блестящих профессоров Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии под Москвой, жил неподалеку от того парка, который так картинно-жутко описан в «Бесах» и где произошло убийство Шатова.

Чаянов не был из числа тех, которые «подавали надежды». Несмотря на свою относительную молодость, он надежды, возложенные на него, уже тогда вполне оправдал.

Историки революционных лет несомненно помнят, что одним из первых показательных процессов сталинской эпохи, послужившим как бы преддверием к самому мрачному периоду русской истории, был так называемый процесс «промпартии». На скамье подсудимых рядом со старым большевиком Рамзиным (кстати сказать, как-то впоследствии вынырнувшим) оказалось и несколько видных ученых, которым вменялось сотрудничество с Пуанкаре, с нефтяным магнатом Детердингом, с Лоуренсом Аравийским, организовавшим какие-то заговоры в тех самых местах, из-за которых теперь идет спор между арабами и Израилем, с кем-то еще.

В качестве свидетелей к процессу был пристегнут ряд специалистов по сельскому хозяйству, учеников некогда знаме-

нитого Чупрова. Им было затем предъявлено добавочное обвинение — попытка передачи власти «кулакам» и, конечно, чаяновская «Утопия» оказалась на видном месте на столе вещественных доказательств! Хотя эти лица были привлечены только как свидетели обвинения, тем не менее, из зала суда они не вышли. Их затем судили отдельно, на сей раз при закрытых дверях. К чему был приговорен Чаянов, в точности не знаю, известно только, что после процесса все подсудимые безвозвратно исчезли, и об их судьбе ходили самые тревожные слухи.

Читатель вправе меня спросить, почему я вдруг вспомнил профессора агрономии и каким образом наши пути могли скреститься? Постараюсь объяснить. Когда-то, это было еще в начале 20-х годов, попалась в мои руки необычная книжица, помеченная пятым годом Республики (то есть 1922 годом). Носила она витиеватое заглавие: «Венедиктов, или достопамятные события моей жизни. Романтическая повесть, написанная "ботаником Икс"». Все в этой книжке звучало как анахронизм: сюжет, стиль, ситуации, все было как бы вне нашего мира. Но одно было несомненно — книга была написана дилетантом, обладавшим бесспорным литературным талантом.

Не зная автора, я написал о «Венедиктове» маленькую заметку, в которой, в частности, указывал, что эта повесть сродни «Русским ночам» Одоевского, а родство это весьма почтенно!

Вскоре после этого известная общественно-политическая деятельница, высланная за границу за работу в «Комитете помощи голодающим», Екатерина Дмитриевна Кускова, сказала мне, что Чаянов, который, кажется, приходился ей свойственником (что, между прочим, еще усугубило его положение во время процесса), находился в Гейдельберге в командировке и просил ее передать мне еще две свои книжечки — «Историю парикмахерской куклы» и «трагедию» из римской жизни «Обманщики». Трагедия эта, собственно, была пародией на трагедию, в которой автор глумился над читателем, но делал это остроумно и даже «элегантно».

Отмечу попутно, что эти две книжечки, которые я считаю большой библиографической редкостью, так как тираж их был крайне невелик и, кроме того, они были частично уничтожены и держать их было небезопасно, сохранились у меня с чаяновскими дарственными надписями «дорогому тезке».

Вскоре Чаянов появился в Берлине, и я быстро с ним подружился. Неожиданно для меня он был не только ученым-коо-

ператором, а я предполагал за этим нечто уныло-тоскливое и педантичное, но оказалось, что его любимым занятием, помимо чтения лекций, было писание фантастических повестей и собирание старинных гравюр. Он даже составил «Руководство для собирателя гравюр» и перед своим отъездом оставил мне одну копию своего труда — она до сих пор лежит у меня, хотя, думается, что теперь она мало кому нужна, ее текст уже устарел.

Так как в тех науках, которые были его специальностью, я «ни аза не смыслил», то наши долгие беседы касались преимущественно его литературных «гофманианских» упражнений, но с еще большим смаком говорил он о гравюрах, а о старых иллюстрированных изданиях с такой убедительностью, точно они лежали тут же перед его глазами.

Однажды он прочел мне вслух новую, чуть ли не накануне законченную повесть «Венецианское зеркало». Сюжет ее не был вполне нов (она описывала проникновение в зеркальный мир), но, насколько помню, трактована вся история была настолько своеобразно, что я попытался уговорить Чаянова издать эту небольшую новеллу. Взялся за это дело издатель «Геликона», лучший в смысле оформления книги, и синяя книжечка, хоть и с непростительным опозданием, увидела свет. Однако выход ее совпал с моментом почти повального разъезда русских берлинцев, так что книга почти никакого отклика тогда не встретила.

Родные и друзья Чаянова настоятельно уговаривали его не спешить с возвращением на родину, словно предчувствуя что-то неладное, и еще оттого, что Гейдельбергский университет, с которым он был тесно связан, не замедлил с предложениями. Но Чаянов упрямо считал, что это было бы изменой родному Петровско-Разумовскому, и в назначенный срок вернулся к своей кафедре.

Я теперь с каким-то щемящим чувством, почти причиняющим мне физическую боль, проглядываю разложенные передо мной пожелтевшие от времени его письма, частично написанные на бланках его Сельскохозяйственной академии, и невольно думаю, хоть, конечно, не могу с достаточной ясностью представить, что пришлось — вскоре после его отъезда из Берлина — пережить этому виднейшему экономисту и незлобивому коллекционеру.

Читаю наугад: «Очень жалею, что вы только собирались к нам в Гейдельберг, что не приехали на самом деле. Это далеко не так далеко! Всего только одна ночь».

«Будьте откровенны и напишите мне, вообще стоит ли издавать эту повесть (он имел в виду «Венецианское зеркало») и не лучше ли присоединить ее к портфелю моих неизданных рукописей?».

«Сейчас, поскольку останется время от научных работ, пишу «большой» роман «Необычайные, но истинные похождения Михаила Бутурлина». Это восемнадцатый век в Москве и это удовлетворяет больше, чем в свое время удовлетворяли другие повести». (Вскользь замечу, что «Бутурлина» Чаянов еще успел издать в Москве, но мне никогда не удалось эту книгу увидеть. Переписка с заграницей ко времени ее выхода становилась рискованной).

«Гравюры мои прибывают, поскольку сие возможно в Гейдельберге и позволяют финансы. «Бутурлин» написан весь и сейчас переписывается набело. Когда буду в Берлине, прочту».

«Утром 10 июля с мюнхенским поездом приеду в Берлин и в тот же день хотелось бы повидаться с вами. Кстати, я привезу с собой законченного «Бутурлина», и если у вас найдется время (три дня!) и охота слушать сногшибательную фантастику, я бы с большой радостью прочел его вам и тем, кого вы найдете нужным пригласить на это чтение».

Запланированное чтение, однако, не состоялось, и другое письмо, опять-таки из Гейдельберга, дает этому объяснение: «Мне очень совестно перед вами, что я не успел побывать у вас перед отъездом. Однако приезд моего брата из Москвы и хлопоты о визе отняли у меня столько времени, что буквально не оставалось для себя свободного часа».

Даже если Чаянова никак нельзя причислить к литературным знаменитостям, к писателям, сыгравшим какую-то роль в развитии советской литературы тех лет, когда «гофманианство» еще не было преступлением, встречи с ним не из тех, которые забываются. Конечно, я знал — да и то, собственно, мельком — только одну его сторону и мог оценить не то, что увековечило его имя в науке. Но мне было так уютно и так приятно болтать с ним именно о том, что несомненно доставляло и ему, и мне «неизъяснимые наслаждения». Стоит только вспомнить, сколько подлинной ласки он проявлял, раскладывая иные из новоприобретенных (часто путем обмена) листов его ценной коллекции.

Тем большее впечатление произвело на меня объявление о

переиздании его научных трудов. Значит, он не забыт, значит, его научная деятельность кому-то нужна и поныне.

Бедный Александр Васильевич... За эти годы в трагических условиях во всевозможных гулагах погибли сотни тысяч людей, но знать, что в числе этих мнонозначных жертв — для каждого из нас уже безразличных — находился милый, безобидный, влюбленный в Россию собеседник, который по всему своему мироощущению и характеру должен был бы родиться в деревянной Москве, прогуливаться с Василием Львовичем Пушкиным и у Симонова монастыря проливать горькие слезы над судьбой бедной Лизы, невероятно тяжело.

Чаянов опоздал родиться, появился на свет Божий, когда даже теория кооперации могла его ни за что, ни про что привести на скамью подсудимых. О том, что могло быть «дальше», лучше не думать.

Не зря последний том «Советской литературной энциклопедии», наконец, все-таки упоминает его и заканчивает строки, ему посвященные, припиской «посмертно реабилитирован». Все мы слишком хорошо знаем, что такая «реабилитация» практически приносит.

ЩЕГОЛЕВ И СЫН

Порой одно слово, одно невзначай произнесенное имя способно пробудить ушедшие в небытие воспоминания. Недавно посетил меня один московский литературовед, с которым мы беседовали о том, о сем, перескакивая с одной темы на другую. То он мне рассказывал о новооткрытых архивных документах, то мы говорили о некоторых достопримечательностях старого Парижа, которые едва знакомы даже парижским старожилам. В связи с этим мой собеседник обронил имя Щеголева. «Павлушки?», — переспросил я его. Он вскипел. «Что за неуместная фамильярность... я упомянул имя одного из наиболее блестящих историков ленинградского университета, к всеобщему сожалению скончавшегося еще совсем молодым в тридцатых годах от инфекционной болезни». Два последних слова он явно акцентировал.

«Да, именно его я и имел в виду. Он был моим товарищем по гимназии. Хоть был он классом младше, но мы общались и вне гимназических стен. Помнится, я как-то провел день у Щеголевых на даче, кажется, она была возле Сестрорецка. Хорошо помню и его родителей: огромного, косолапого и очаровательного Павла Елисеевича, прекрасного рассказчика, который в домашней обстановке не переставал сыпать анекдотами и вспоминать какие-то исторические курьезы. Его можно было заслушаться. Смутно вижу перед глазами и мать Павлушки — в прошлом артистку театра Комиссаржевской, увековеченную в стихах Блока «Валентина, звезда, мечтанье! Как поют твои соловьи...» и в нескольких строчках «Возмездия» и, кроме того, в посвященном ей стихотворении Ахматовой, написанном после того, как Ахматова провела лето на щеголевской даче. Но это уже в советское время... Сейчас мне почему-то вспоминается

необычная прическа Валентины Андреевны. Если не ошибаюсь, она стригла волосы, а тогда это должно было меня поразить. Видано ли это было! Но это воспоминания далекие, а помимо того, молодой Щеголев приезжал в научную командировку в Париж и я провел с ним несколько вечеров и даже бессонных ночей. Так что зря вы на меня гневаетесь...».

Действительно, я отлично помню розовощекого, круглолицего молодого Павлика, очень живого, остроумного и не по возрасту начитанного. Да это ведь и неудивительно. Он был сыном своего отца — одного из наиболее выдающихся историков русского революционного движения, редактора журнала «Былое» и, главное, наряду с Модзалевским, вероятно, самым блестящим среди пушкинистов дореволюционной эпохи. Его работа «Дуэль и смерть Пушкина», многое впервые открывшая, и по сей день сохранила свою ценность, несмотря на горы неизвестных Щеголеву материалов, извлеченных из архивов после опубликования его книги, вышедшей в трех изданиях.

Да, произнесенное вслух моим гостем имя заставило меня вспомнить один эпизод, относящийся к моим гимназическим годам. В одном классе со мной учились три брата П. (отец их был впоследствии министром Временного правительства и надо признать — одним из наиболее неудачных). Как-то — это было в самом конце 1916 года — мои сотоварищи со своими тремя сестрами решили организовать у себя любительский спектакль.

Что они ставили, я не запомнил, только помню, что под конец старший из братьев — это издавна был его коронный номер — с наигранным пафосом декламировал «Умирающего гладиатора». Вслед за этим домоделанный занавес, на живую нитку сшитый из двух одеял, опустился и в образовавшуюся скважину просунулся чей-то пребольшой нос. Не обратив внимания на его объем, я с размаха щелкнул его. Тотчас из-за занавеса выплыло нечто огромное, десятипудовое. Это был милейший Щеголев-отец, близкий друг семьи П.

Он схватил меня за руку и, принимая грозный вид, сердито гаркнул: «Вы очевидно хотели подражать Балде, но я не пушкинский «поп». Щелчок требует мести. Извинениями вам не отделаться. Что бы придумать в наказание? Вот я вас подвергну экзамену за то, что вы как-то прихвастнули, будто читали мои книги, а ведь я не корпел над ними для развлечения балбесов-шестиклассников! Ну, если ответите, я так и быть помилую вас и пущу ужинать. Скажите, кто была «утаенной любовью» Пушки-

на? Это я помнил. «По Щеголеву — Раевская, младшая из трех сестер». Экзаменатор сладко улыбнулся и добавил: «Но погодите. Вы как-то странно ответили «по Щеголеву», значит вам известно, кто была эта самая «утаенная любовь» по домыслам Гершензона».

Эту фамилию он произнес с каким-то злобным шипением, словно писалась она с тремя «з». Я тогда не знал, что эти два замечательных пушкиниста — один петербургский, другой московский (и тут было соревнование!) были «на ножах», и Щеголев не переставал иронизировать над гершензоновской теорией «медленного чтения». «По Гершензону, это была внучка Суворова, Голицына», — ответил я. (Кстати сказать, позднее Гершензон от своей гипотезы отказался). «Ну, ладно, — уже совсем добродушным тоном произнес Щеголев, — экзамен вы выдержали, айда ужинать». Мы направились к столу, вероятно, последнему пышному столу, который мне пришлось видеть на берегах Невы, «где некогда гулял и я», хоть это было 60 лет тому назад! Разговор за столом между взрослыми сразу же, словно горный поток, покатился вокруг убийства Распутина. О чем еще можно было в эти дни говорить?

А тот самый Павлушка, за «попранную» честь которого вступился мой гость, заставлял меня, когда приехал в Париж, часами бродить с ним по уснувшим кварталам города. Он водил меня по неизвестным мне полутемным кривым улочкам и переулкам левого берега Сены. Иногда он внезапно останавливался, тащил за собой через какой-то неосвещенный проход во дворик ветхого дома и указывал: «Вот, дорогой мой, отсюда Эбера, самого крайнего в Конвенте, потащили в Консьержери, а это означало, как ты знаешь... каюк» или «Вон там налево провел свой последний день Эро де Сешелль», а чуть дальше: «Оттуда Фукье-Тенвилль беспересадочно отправился к «вдове», как тогда прозывали новое изобретение доктора Гильотена».

Спутник мой точно орешками продолжал сыпать именами революционных деятелей. При этом, главные герои драмы и, скажем, жилища Дантона или Марата его словно не интересовали. Это меня удивило. «Да их обиталища всем известны, всякие сомнительные гиды возят туда туристов чуть ли не на автокарах и плетут им всякую чушь». Конечно, он был прав, но одно мне все-таки было непонятно. «Павлик, почему ты непременно хочешь разглядывать эти причудливые дворики, которые скрыты от взгляда прохожих и часто весьма примечательны, но но-

чам? Ведь луна не всегда светит». «Как не понять, — возразил он. — Днем я уже тут побывал и сделал ряд снимков. Ведь, помяни мое слово, жить этим дворам и дворикам осталось считанное число лет (действительно, сколько их было с тех пор снесено). А мне интереснее видеть их ночью, когда они еще могут напоминать о жизни в старину. Ведь днем тут снуют какие-то люди в бесстильных одеждах, часто стоят какие-то грузовики или еще что-то несуразное и все это вконец искажает местный колорит. Из-за этих анахронизмов гораздо труднее мысленно восстановить пейзаж прошлого. А для моей работы, для ее оживления очень существенно представить себе, где, кто и как жил. Ну, довольно, кажется, наступил час, когда принято отправляться на центральный рынок есть луковый суп, ведь рынок недалеко».

Щеголев ориентировался в Париже точно жил в нем годами. Все он заранее разметил по плану. «Скажи, Павлик, — обратился я к нему, — разве твои герои ходили по ночам лакомиться луковым супом?». Он улыбнулся — «Каверзный вопрос, потому что не знаю толком, что ответить, хоть и знаю, что многие из них были тонкими гастрономами и любили лакомиться всякими морскими чудовищами. Кое-что в этой области я мог обнаружить в их переписке, да об этом можно найти и в трудах моего прославленного «коллеги» Ленотра». — «Но ведь у Ленотра, пожалуй, можно отыскать все подробности и о жилищах всех деятелей Конвента, обо всей их подноготной». Он посмотрел на меня, точно удивленный моим простодушием: «Да, это так, но разве можно до конца раскусить психологию какого-нибудь Фабр д'Эглантина, революционера, отчаянного спекулянта и поэта, сочинившего небезызвестное «Il pleut, il pleut, bergère», без того, чтобы своими глазами не посмотреть на его хоромы. Это совершенно необходимое дополнение к той пачке документов, которую я уже о каждом из них собрал. Ведь и в наших архивах нашлось немало материалов, которые неизвестны французам. Меня, например, не интересуют даты, мне важно установить кое-какие аналогии, так сказать, преемственность событий. А без этих прогулок все мои документы окажутся пересушенными. Зато теперь я надеюсь, что мне удастся окропить их «живой водой».

К сожалению, сделать этого ему не удалось — до того, как иметь возможность установить какой-то параллелизм между

тем, как в разных странах Сатурн пожирает своих детей, Щеголев не дожил. При его жизни московские процессы были еще только в зачатке, и аналогия, которую он искал, была бы неполной. Впрочем, «прогресс» — если только он о нем думал — был не только количественный, но и качественный. По сравнению с их современными последователями всякие Фукье-Тенвилли и Фуше могли казаться людьми наивными и их меры элементарными.

«СТАРЕЙШИНА»

В ту пору — это происходило в начале двадцатых годов в Берлине — я нередко уславливался с Борисом Константиновичем Зайцевым встретиться в каком-то кафе, которое мы облюбовали, чтобы, сидя в глубоких креслах, сразиться в шахматы. Нередко к нам присоединялся еще и Осоргин. Конечно, с точки зрения любого подлинного шахматиста или даже шахматиста-любителя мы, собственно, не «играли», а скорее двигали фигурами. Но все-таки это было весьма приятным времяпрепровождением и эти поединки сохранились в моей памяти, а в придачу сохранилась и одна из зайцевских книжиц с надписью — «имяреку — за шахматами».

Но вот однажды, именно после какого-то несуразного и неожиданного мата Борис Константинович обратился ко мне: «Ежели вы свободны в такой-то день, приходите к нам на чашку чая. Из Праги приехал Василий Иванович Немирович-Данченко, старейший среди нас, и вам несомненно должно быть любопытно встретиться с ним».

Приглашение было заманчиво, но в последнюю минуту, при прощании с Зайцевым, я всполошился: «Борис Константинович, по правде говоря, я мало знаком с творчеством «старейшины», больше того, даже не помню, что когда-либо его читал. Так что, дабы его не обидеть и не ударить в грязь лицом, укажите мне хотя бы два или три заглавия его книг». «Дорогой мой, я сам их не упомнил, но непременно постараюсь что-либо разузнать. Это необходимо. Приходите чуть раньше гостя, и я вам кое-что шепну!».

За несколько минут до назначенного часа я был уже у

дверей зайцевского обиталища, в которое меня впустила девчурка с двумя белесыми косичками, показавшаяся мне в тот момент необычайно хрупкой. Услышав звонок, Зайцев сразу же появился и с таинственным видом, точно он передавал мне какой-то пароль, пробормотал: «Сластеновские миллионы» и «Цари биржи». Больше никто ничего не помнит...».

Немирович появился с необычайной пунктуальностью, секунда в секунду. Это был небольшого роста старичок (о Эйнштейн! как все относительно — ему тогда, вероятно, было не больше лет, чем мне сегодня), какой-то не в меру чистенький и прилизанный, с аккуратно расчесанной бородкой, от которой приятно пахло тройным одеколоном. Особое впечатление производили его почти анахронические твердые крахмальные манжеты и поблескивавший белоснежный и не менее твердый воротничок.

— Знакомьтесь, — сказал хозяин дома, представляя меня.

— Ах, молодой человек, вот вы, я знаю, стремитесь сотрудничать в газетах, я что-то вчера за вашей подписью прочитал. Это все зря. Гораздо умнее сесть и сочинять свое. Слушайте мой совет, он вам пригодится. Пишите и пишите, проповедывал он, но, главное, не чиркайте. Возьмите стопку белой бумаги и работайте не останавливаясь. Надо только хорошенько раскачаться и знать куда вы клоните. Верьте моему опыту, если вы начнете каждую фразу отделывать да еще потом отшлифовывать, вы непременно тут же споткнетесь и никуда не доедете. Добавлю еще, что надо подыскать какую-нибудь изюминку или, если хотите, перчинку, чтобы читатель на нее клюнул. Без этого будет пресно...

Хотя старик говорил с редкой благожелательностью и со мной — юнцом, как равный с равным, его рецепты не показались мне «благоразумными», и в ответ я промямлил что-то о «Сластеновских миллионах», но тут же испугался. А вдруг мой собеседник подхватит эту тему, и тогда я неминуемо сяду в калошу. Помня, что он чуть ли не полжизни был корреспондентом всевозможных театров военых действий, я стал его расспрашивать о балканских войнах 1912-13 года и о том, как он расценивает настоящее положение на Балканах (кстати сказать, там тогда, кажется, ничего и не происходило, но так — к слову пришлось!).

— Эх, куда вы скатились, — вспыхнул гость. — Дорогой мой, что это за войны, вздор, какое-то «парад-алле», сперва

колотили турок, потом самих себя. Нет, я лучше вам расскажу о Шипке и о Плевне, я ведь в тех боях Георгия заработал. Я даже в Сан-Стефано в 78-м году побывал, когда подписывали мирный договор с султанской Турцией. Впрочем, Горчаков потом все проворонил, — добавил он с негодованием. — Да, что, я ведь севастопольскую кампанию почти помню. Память у меня до сих пор такая, что дай тебе Бог. А ведь я из военной семьи, так что уже семи лет от роду переживал падение Малахова кургана и...

Почувствовалось, что старичок только «набирается воздуху». Хозяева явно всполошились, опасаясь, что у повествования конца-краю не будет.

— Чай пить, чай стынет, — полуприкрикнула хозяйка дома.

Из предосторожности Зайцев решил направить разговор в более «мирное» русло и начал расспрашивать гостя, продолжает ли он так же продуктивно работать, как в былые времена.

— К чему теперь это: нет издателей, нет читателей, нет тех радостей и того блеска, без которых мне работа не в работу. Да и передвигаться стало трудно. Бывало сегодня я на бое быков в Севилье или, еще лучше, в несравненной Ронде — это между Алхесирасом и Малагой. Вы там не бывали? Непременно поезжайте, такой арены второй нет. (Между прочим много-много лет спустя я воспользовался его отличным советом). А назавтра мчусь в Архангельск, чтобы оттуда отправиться на Соловки. А теперь одна беготня за всякими визами отнимает больше времени, чем само путешествие, а слово «Соловки» нельзя больше к ночи упоминать; да, впрочем, и днем не следует. Все провалилось в тартарары, и я еще должен быть доволен, что могу коротать мои дни благодаря гостеприимным чехам, которые меня очень ценят... А это всегда приятно. Вот Масарик недавно позвал меня, чтобы расспросить об этих самых Соловках, о которых вы упоминали. Я ему и объяснил...

Заговорил о них, кстати сказать, он сам.

Хозяева дома снова заволновались, считая, что попали из огня да в полымя. Им по-видимому мало улыбалось выслушать лекцию о Соловецком архипелаге, особенно зная, что у милейшего Василия Ивановича нередки заскоки в памяти. Да и в более молодве его годы было распространено мнение, что живость его натуры заставляет его иной раз «помюнгхаузничать».

— На прощанье я вам стишок прочту, — сказал он, — продолжаю грешить рифмами. Тут же с наигранным пафосом стал декламировать что-то, что можно было счесть беззаконной по-

месью Надсона с Бальмонтом. Я, конечно, стихов Немировича не запомнил, потому что, пока он читал, все внимание слушателей было сосредоточено на том, чтобы, не дай Бог, друг на друга не посмотреть и не обидеть старика какой-нибудь невольной усмешкой или гримасой.

— Хоть бы собрание сочинений удалось до смерти издать, — произнес он на прощанье, хватаясь за свой котелок — ну, конечно, ему приличествовал котелок.

— А сколько бы томов вышло, — робко спросил Борис Константинович.

— Да, я их и не считал. Если включить все путевые очерки и рассказы для юношества, военные корреспонденции и беллетристику, да еще и те томики, которые совсем недавно были выпущены петроградским Советом рабочих депутатов — это тоже страница в моей биографии — томов двести, а то и больше, вероятно, набралось бы. Но всего я даже не хотел бы переиздавать, многого теперь не поймут, а кое-что едва ли оценят.

Шутил ли он или говорил серьезно — мне не вполне ясно, потому что чувствовалось, что сам себя он ценит сверх меры.

На этом мы расстались, чтобы никогда больше не встретиться. Но эта недолгая встреча с человеком, родившимся в царствование Николая I, который как-никак столько перевидал, кажется мне примечательной. Поболтать с ним, даже если в свои рассказы он и вводил «поэтические вольности» было подлинным удовольствием. Ведь он не был историком, а только свидетелем истории, а все свидетели, как хорошо известно, склонны извращать факты. Вот сейчас, больше полувека после этой встречи, думая о нем, я точно ощущаю запах его одеколона и вижу перед собой милого, благодушного и располагающего к себе старичка. Судьба его так сложилась, что даже при наличии двухсот томов имя его редко попадает в истории русской литературы, а в словарях уделяют ему не больше нескольких скупых строк. А ведь все-таки во время оно был у него свой немалый круг читателей и почитателей и как-никак исчез он (скончался Немирович в 1936 году) не вполне бесследно.

МОСКОВСКАЯ ЭГЕРИЯ

Я был немало удивлен, когда прочитал в парижских газетах известие о том, что в Переделкине, привелигерованном писательском поселке близ Москвы, чуть ли не в девяностолетнем возрасте скончалась долголетняя возлюбленная Маяковского, Лиля Брик, которой он, вероятно, посвятил больше строк, чем Петрарка своей Лауре. Удивление мое вызывалось тем, что французская пресса отметила смерть женщины, хоть и игравшей некоторую роль в литературной московской жизни в 20-х годах, но роль закулисную, о которой читатели газет едва ли могли быть осведомлены. Собственно, «что им Гекуба» ?

А когда-то, «в те баснословные года», довелось и мне встречать эту самую Лилю. Познакомился я с ней на какой-то шумной и пьяной вечеринке в ателье одного известного русского художника. Много с тех пор прошло лет, но я и сейчас помню, как она — точно была центром праздника — полулежала на какой-то тахте, и когда хозяин ателье подвел меня к ней, что бы представить, она протянула мне руку, вызывающе приближая ее к моим губам. Вероятно, в своем знаменитом салоне мадам де Рекамье протягивала подобным же жестом руку своим гостям. Но как никак мне этот жест тогда был в диковинку, поскольку его делала Эгерия московского «салона», постоянными посетителями которого были повзрослевшие к тому времени футуристы и еще не окончательно раздавленные формалисты, то есть вся та группа, которая числилась в сотрудниках породившего столько свар «незабываемого» журнала «Леф».

В той богемной компании, в которой я впервые Лилю Брик встретил, она, действительно, казалась своего рода королевой, выделялась среди других, выделялась манерой держать-

ся, хоть и не парижской, но все-таки элегантностью, и еще — непререкаемостью суждений и сознанием своей «особности», которая передавалась собеседнику, хотя, строго говоря, это ее свойство надо было принимать на веру. Ведь почти никакого литературного наследства она после себя не оставила. А все же не казалось удивительным, что находившийся рядом Маяковский, во всяком сборище стремившийся главенствовать, тут как-то съеживался и если и отходил от Лили, то только для того, чтобы принести ей бутерброд или наполнить ее рюмку. Между тем, тут же сидел и ее законный супруг, Осип Брик, человек острого ума и большой эрудиции, имевший свои идеи на «звуковые повторы», но человек с неясной репутацией: в Москве говорилось, что его следует остерегаться. Кто знает? Он едва открывал рот, вынужденно улыбался и не стеснялся показать, что презирает происходившую вокруг него сутолоку.

Я глазел на эту необычную тройку и был не слишком удивлен, прочитав много-много позже признания самой Лили. «Брик был моим первым мужем. Обвенчалась я с ним в 912-м году, а когда я сказала ему о том, что Маяковский и я полюбили друг друга, все мы решили не расставаться — писала она. — Маяковский и Брик были уже тогда близкими друзьями, связанными близостью идейных интересов и литературной работой. Так и случилось, что мы прожили нашу жизнь и духовно и большей частью территориально вместе».

«Территориально вместе...». Как-никак это было не вполне обычным «разрешением проблемы» даже на фоне развалившегося московского быта 20-х годов. Но как будто никто этой необычности не чувствовал, и все шло «привычной линией», и если только Маяковский бывал от Лили отъединен, он писал ей сентиментальные письма, в обращениях употребляя эпитеты вроде «ослепительный», «изумительный», «зверски милый Лилик»; словом, такие же эпитеты встречаются в письмах всех влюбленных, адресованных своим избранницам. Подписывал он эти письма неизменно «Щен», обязательно пририсовывая к подписи ловко сделанный рисуночек, изображавший щенка.

Часть этих писем была опубликована в единственном из вышедших томов академического «Литературного наследства», посвященнх Маяковскому и, как говорили, вскоре после его появления изъятых из продажи. Советские Катоны решили, что читательской массе не следует знакомиться со «слабостями» стального поэта революции, якобы начавшего свою рево-

люционную активность чуть ли не в двенадцатилетнем возрасте. Его героическому облику не к лицу слюнявые обращения к своей Эгерии. Памятник на московской площади его имени не вязался с письмами, начинающимися словами «милый кашалотик» и заканчивающимися четырнадцатизначным числом поцелуев. Железная логика марксизма такого стерпеть не могла!

Вскоре после описанной вечеринки мне случилось пообедать с Лилей и ее сестрой, Эльзой Триоле, Маяковским, Пуни, Виктором Шкловским, был ли еще кто-то, не помню. Разговор за обедом шел о конструктивизме, о том, что Маяковский именовал тогда «деэстетизацией производственных искусств» и затем — эта тема еще тогда не успела остыть — о незадолго до того появившемся редактируемом Маяковским журнале «Леф», в первом номере которого была напечатана его поэма (в без малого в 2 000 строк) — «Про это».

Основная тема поэмы, которая, как он писал, «остальные оттерла и одна безраздельно стала близка» —

«...Эта тема день истемнила в темень,
колотись — велела — строчками лбов.
Имя этой теме: ......»

и тут в печатном тексте застенчивый поэт ставил ряд точек, предоставляя прозорливому читателю расшифровать пропущенное слово!

За обедом — не без оттенка скорби — говорилось о том, что поэма не пришлась по вкусу московской критике: напостовцы шипели, что «это сорняк, который надо беспощадно выполоть», другие ругали поэта за создание индивидуалистической поэмы, пронизанной ледяным чувством одиночества, и что того хуже — сотрудник «Лефа» и бывший единомышленник, Чужак, увидел в «Про это» измену платформе журнала, учуял не выход, а безвыходность (что, вероятно, только показывало его чутье). При этом кто-то из присутствующих указал, что обложка первого издания поэмы была вызывающей и только подлила масла в огонь. На «преступной» обложке красовался фотомонтаж Родченки, изображавшей ту, которой поэма была посвящена, которая была темой поэмы. Это был сильно ретушированный снимок Лили с пребольшими глазами, наведенными на зрителя и почти способными его загипнотизировать, с чуть театральной улыбкой, несомненно привлекающей.

Друзья Маяковского волновались, напоминали о тех подвохах, от которых не застрахован ни один советский писатель, об интригах и «подножках», которых не чуждаются даже иные из литературных друзей. Сам Маяковский был спокойнее всех, ссылался на то, что горсточка греков отразила под Фермопилами все персидские полчища, а когда кто-то начал настаивать на том, что Маяковскому надо перейти в контрнаступление и поставить все точки над «i», он только остроумно отшутился, заявив, что это невозможно, потому что десятиричного «i» больше не существует. Но все же Лиля была прозорливее своего поэта, и можно было по нескольким ее замечаниям почувствовать, что она отдает себе отчет в том, что дело не ограничивается кислыми высказываниями критиков и звезда Маяковского, отчасти по внелитературным причинам, начинает закатываться. Едва ли он сам это сознавал, даже если его бравурность во многом была показной.

Прошло после этого несколько лет. Маяковский изредка наезжал в Париж, отдельно от него наезжала и Лиля навестить сестру. Но тут случилось вполне непредвиденное: в одну из заграничных поездок Маяковский нежданно-негаданно влюбился, и по-серьезному, — страшно подумать! — в одну милую эмигрантку. Удивительно ли, что когда он снова захотел посетить привлекательный для него по-новому Париж, ему в разрешении на выезд из Советского Союза категорически отказали? Ходили упорные слухи, что именно Лиля и ее муж особенно ретиво охраняли чистоту революционных риз Маяковского и содействовали тому, что певца революции и «Моссельпрома» больше за границу не выпустили.

Именно это запрещение, как и «охлаждение» отношений с Лилей, можно думать, толкнули его на трагическое решение, и хотя в несколько напыщенном предсмертном письме он взывал: «Лиля — люби меня», а строчкой ниже, обращаясь к правительству, указывал: «моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская», такое сопоставление имен едва ли было по душе Лиле. Оттого об актрисе Полонской мало что известно, в комментариях к текстам Маяковского имя ее почти никогда не упоминается (не зря же Лиля руководила редактированием первого собрания сочинений Маяковского).

Так и вышло — и в этом, конечно, немалая доля ответственности лежит на Лиле, — тот, кому мерещилось триумфаль-

ное шествие по жизни, оказался побежденным чуть ли не во всех планах, кто ниспровергал обывательщину — был сражен самой «мещанской», самой банальной из всех возможных жизненных ситуаций. Если пользоваться его терминологией, обыденщина вторглась в щели быта. А она... его Эгерия — «Взяла, отобрала сердце, и просто пошла играть — как девочка мячиком».

P. S.: От одного моего приятеля, который в те дни побывал в Москве, я узнал, что Лиля Брик сама ускорила свою смерть. Она поскользнулась, при падении сломала бедро и не выдержала мучений. Если распространившиеся по Москве слухи достоверны (а у меня нет никаких оснований в них сомневаться), то, действительно, надо иметь отчаянный характер, чтобы в таком преклонном возрасте прибегнуть к помощи яда. В этом мрачно-трагическом поступке сказывается характер той, которая претендовала быть Эгерией Маяковского.

«КОНЦЕРТ САРАСАТЕ»

Я не знаю точно, сколько мне было лет — вероятно, семь или восемь — когда на моем горизонте появился белесый молодой человек, поразивший меня, как теперь смутно припоминается, своим одеянием. На нем всегда была черная бархатная кофта, таких я до того не видал, вокруг шеи был повязан широченный шелковый бант. Мне самому нацепляли примерно такие же, только поуже и попестрее, и я их терпеть не мог, считая, что это наряд для девчонок.

Молодой человек часто наведывался к моим родителям, иногда возился со мной, помогая расставлять рельсы моей железной дороги, но чаще всего моя мать, умевшая что-то на рояле настукать, ему аккомпанировала, и его грустное мурлыкание доносилось до моей комнаты. Это было не вполне пение и не совсем декламация — на мой тогдашний вкус это было нечто довольно назойливое, наполненное странными словами, тем менее мне непонятными, что некоторые буквы молодой человек коверкал, а другие вообще не произносил.

Он неизменно оставался к обеду и мой отец объяснил мне, что Сандро — так повелось его именовать — очень способный юноша и потому его надо очень радушно принимать. Он учился в кадетском корпусе, но военная карьера его не прельщала, и корпус он, никого не спросив, оставил и из-за этого в конец рассорился со своим папой...

Сколько времени продолжались посещения Сандро я, конечно, не могу установить, но помню, что в какой-то прекрасный день он исчез, словно растворился в воздухе и я долго о нем ничего не слышал, да и мало им интересовался. Только через какой-то сравнительно долгий промежуток времени я мог обнаружить, что расклеенные на улицах афиши, огромны-

ми буквами оповещавшие о выступлении некоего Вертинского, извещали о предстоящем концерте именно того молодого человека, которого я когда-то хорошо знал. Стало быть — судя по величине букв — Сандро стал знаменитостью...

Прошли годы и какие годы — война, революция, эмиграция, Париж.

В Париже Союз писателей и журналистов установил традицию в новогоднюю ночь по допотопному стилю (что отнюдь не отражало консерватизма устроителей, просто в другие подходящие дни зал был занят) устраивать пышный бал, значительный сбор с которого распределялся среди нуждающихся литераторов. Я был неизменным посетителем этих балов, одним из «распорядителей» и принимал непосредственно участие в их устройстве.

На одном из балов выступал среди других «звезд» Вертинский. Помню, что среди прочего он спел почему-то взволновавшую меня и для меня новую песенку о каком-то горбатом и крайне ревнивом скрипаче, который играет концерт Сарасате и тогда чье-то сердце «как птица летит и поет». Помню еще, что песенка почему-то кончалась вопросом: «Разве можно так горько, так зло насмехаться? Разве можно топтать каблуками сирень?». Я, не задумываясь, соглашался, что, действительно, зазорно «топтать каблуками сиреть», не говоря о том, что для этого нужно быть без малого эквилибристом!

Я стоял около подмостков, на которых пел Вертинский и громко ему аплодировал. Выступление его кончилось и он спускался в залу. Мы невольно столкнулись, он едва на меня взглянул и сказал:

— Подождите, не уходите, вы... Он не только произнес мою фамилию, но и имя, при том в его уменьшительной, домашней форме.

— Откуда вы можете знать, недоумевал я.

— Да ведь вы почти не изменились.

Я улыбнулся. Мы не виделись больше двадцати лет и между внешним обликом восьмилетнего мальчишки и взрослым мужчиной, да еще в смокинге, как-никак была «дистанция огромного размера».

— Вам, вероятно, кто-то указал на меня, назвал мою фамилию.

— Да, нет же. Я вас сразу узнал, заметил вас, еще будучи на сцене. Знаете, мне хотелось бы поболтать с вами, но тут это

едва ли возможно. Зайдите ко мне — он назвал какой-то отельчик около Мадлэн — вместе позавтракаем и вспомним минувшее.

Мы договорились и в назначенный день я постучал в его двери. Хотя было уже довольно поздно, он был еще в халате.

— Проклятая жизнь... Ложусь неизвестно когда, просыпаюсь с вяжущим ощущением во рту, когда Бог положит, и мир мне не мил. Ночами пою, петь я люблю, но то, что вокруг меня надоело до чертиков. Стыдно принимать какие-то подачки, а я их все время принимаю и каждый вечер одно и тоже, посетители кабака воображают, что мне приятно выпить с ними бокал шампанского. А помните — нет, вы помнить не можете — как хорошо было, когда я бывал у ваших родителей и как я им благодарен. Почти никого я тогда не знал, едва как-то что-то подрабатывал, но был вольной птицей, и никакая барышня, увидавшая меня на улице, чтобы доказать, что она меня узнала, не считала нужным пробурчать мне в ухо, что мои «пальцы пахнут ладаном»! Зато теперь вы можете убедиться, что, действительно, «в очах сквозит печаль». Ну будет, айда завтракать. Нет, погодите, в память тех дней я хочу сделать вам подарок.

Подойдя к открытому чемодану, он вытащил из него шелковую пижаму особенного покроя — куртка была скроена на манер косоворотки.

Я из приличия стал от подарка уклоняться.

— Вы меня обидите отказом.

Уламывать меня ему долго не пришлось, пижама меня очень прельщала и если не ошибаюсь, она пережила войну.

Во время завтрака он продолжал скулить — то не то и это не то, брак не удался, работа не в моготу, ничего не сочиняется, публике он надоел.

— Вам, небось, кажется, что я пошляк, потому что сочиняю пошловатые песенки. Но это нужно для публики. Ведь она не догадывается, что почти все они автобиографичны, только, чтоб не узнали, приходится все перевертывать наизнанку. Ведь вот я пою: «В этом платье печальном вы казались Орленком / Бледным, маленьким герцогом сказочных лет... / В этом городе сонном, вы вечно мечтали / О балах, о пажах, вереницах карет...». Друг мой, разве вы не поняли, что это я о себе, ведь я, так сказать, взаправду мечтал об Орленке, ставил себя на его место и это меня спасало... На днях будет мой концерт, непременно приходите, я вам дам контрамарку.

Концерт был вполне удачный, зал переполнен. Примерно год спустя Вертинский устроил еще один концерт. Публики было заметно меньше. Я зашел к нему в уборную.

— Видите, как я был прав, — сказал он с досадой. Зал полупустой и у меня нет выбора — я должен «сматывать удочки», ехать куда-нибудь на кулички, в Шанхай, в Харбин, где еще водятся русские чудаки. Зато по дороге я загляну в тот «оранжево-лимонный» Сингапур, который я столько лет воспевал, а он, вероятно, грязный и противный и это хороший мне урок!

Мне было грустно слушать его, потому что песенки Вертинского таили в себе всегда что-то подлинно «душещипательное» и недаром знавал я его горячих поклонников среди людей «высокой культуры» и готов поверить, что, как я слышал, его пластинки до сих пор коллекционируются иными из московских сановников. Нет спора, лирика Вертинского — не большая поэзия, да и вообще не поэзия, но ее преувеличенные «изыски», ее бутафорская экзотика как нельзя лучше отражают аромат **«Fin de siècle»**, конца века, того века, который в Западной Европе завершился 914-м годом, а в России еще на несколько лет задержался. В темах Вертинского, в его мечтах о каких-то несуществующих женщинах с повадками Саломеи, о притонах Сан-Франциско — отразились помыслы всех тех, кому нужна была струя свежего воздуха, потому что его песенки уносили слушателей в какие-то иные нездешние миры и заставляли верить, что они существуют где-то за семью морями.

Вероятно, последнее, что я на его концерте слышал (мне теперь удалось найти этот текст) была трогательная в его исполнении далеко не наивная песенка:

«Пей, моя девочка, пей, моя милая,
Это плохое вино.
Оба мы нищие, оба унылые,
Счастья нам не дано.

Нас обманули, нас ложью опутали,
Нас заставляли любить...
Хитро и тонко, так тонко запутали,
Даже не дали забыть».

Что за беда, если «запутали» рифмуется с «опутали»? Дело тут не в «презренных» глагольных рифмах, дело в тех интона-

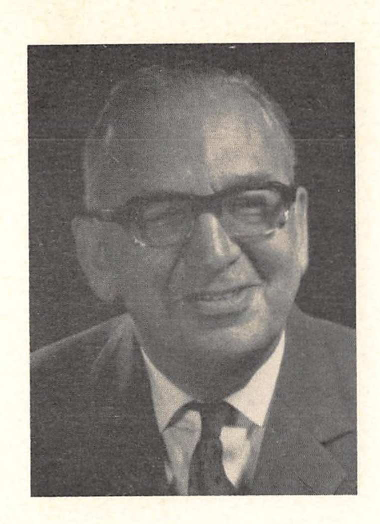
циях, которые умел давать Вертинский выдуманным им словам, и что мы с эстрады слышали, не кажется больше вульгарным, как не кажется смешным его горбатый скрипач, исполняющий концерт Сарасате.

Дальний Восток удовлетворения Вертинскому, как я позже слышал, не дал. Сколько времени он там пробыл, не знаю, но знаю, что затем он вернулся в Москву, где — несмотря на его «мелкобуржуазность» и «космополитизм» — поклонников у него всегда была тьма тьмущая.

Рассказывают — впрочем, кажется, это «странствующий сюжет» — что, когда Вертинский, приземлившись во Внукове, сошел с самолета, он упал на колени и трижды облобызал «русскую землю», затем обернулся и увидав, что его чемодан успел исчезнуть, воскликнул «узнаю тебя, русская земля». Не слишком верю, что это было так. Вероятно, этот анекдот был придуман злостными контрреволюционерами! Во всяком случае si non é vero...

Как бы то ни было, бледнолицему Сандро долго на русской земле прожить не удалось.

ОГЛАВЛЕНИЕ



Александр Васильевич Бахрах, хоть и родился в Киеве, но отрочество и юность прожил в Петербурге, где и учился в частной гимназии Мая. Осенью 1918 года он с родителями уехал в Киев, а оттуда в мае 1920 года, пережив за сравнительно короткий срок смену более десятка режимов, — в Варшаву. Это была его первая остановка по пути к деду, который к тому времени уже обосновался в Париже и был особенно с внуком близок.

Два года он провел в Берлине. А в 1923 году Бахрах возвратился в Париж, где и жительствует больше полувека. В Париже, как и в Берлине, он тоже знал всех и уже все его знали.

Бахрах хорошо знает — что может и хочет делать и чего не может да и не хочет. Бахрах не мифотворец. Он просто пишет свои портреты или эскизы — меткие, живые, непритязательные. Наконец, и это редкая и драгоценная черта — он умеет цитировать поэтов, находит самые их счастливые стихи, что недоступно многим присяжным литературоведам и критикам, не говоря уже о марксистах. Есть у Бахраха вкус, есть здравый смысл и он явно задет поэзией за живое, ушиблен литературой — и без этого ушиба он не мог бы проникновенно понимать стихи да и прозу.

Бахраха, несомненно, заметила и так называемая «Третья волна».

Дружественная теория познания Бахраха очень монтеневская. Она вытекает из симпатии, с добавкой иронии и иногда — скепсиса. И в русскую литературу уравновешенный Бахрах и благожелательный Бахрах явно вступил под знаком Монтеня.

Проф. Юрий Иваск

Photogravure et impression AZ Secrétariat ✆ 755-76-20